

Рихард Якоби

ЧАРЫ КАРПАТ

A stylized illustration in shades of green and yellow. At the top, a deer stands on a rocky peak. Below it, a jagged mountain range is depicted. In the bottom right corner, a small village with several houses and a church with a tall steeple is visible. The background is a dark green with horizontal brushstrokes.

Издательство
молодежи

РИХАРД ЯКОБИ

ЧАРЫ КАРПАТ

Рассказы из царства лешего и водяного

Перевод с немецкого Т. БЕРИНДЕЙ

ИЗДАТЕЛЬСТВО МОЛОДЕЖИ — БУХАРЕСТ



В небольшом городке, где-то в немецких краях, в теплой дружеской обстановке состоялось ежемесячное собрание коллектива рыболовов-спортсменов; в тот вечер, о котором здесь речь, обсуждался вопрос «шабаша ведьм». Обычай этого коллектива обсуждать каждый раз на таких вечерах ту или иную ведущую тему прочно укоренился с годами. И кое-кто из них умел так увлекательно рассказывать о пережитом, уснащая свое повествование мелкими забавными, подчас серьезными и даже волнующими эпизодами, что почти никто из членов коллектива не пропускал такие встречи; напротив, все они с большой точностью являлись в гостиницу «Голубая обезьяна», заказывали каждый свою бутылку вина и с величайшим удовольствием выслушивали выступающего.

Обязанности председателя коллектива рыболовов сводились на этих вечерах к предоставлению слова тому или иному члену; на собраниях были всецело исключены любые строгости форм и какие-либо ограничения; не удивительно поэтому, что эти дружеские встречи никогда не порождали страстных споров личного характера, а ход повествования напоминал не пенистый, бурный горный поток, а скорее спокойный бег неторопливо катящегося по равнине свои воды ручейка.

Под рукой у председателя, секретаря и казначея, сидевших на закругленном конце подковообразного стола, висела единственная принадлежность, к которой чаще всего прибегали на этих собраниях, — колокольчик.

Разве только мало осведомленный человек мог бы предположить, что назначением этого колокольчика было восстанавливать порядок в кружке любителей рыбной ловли. Он не подавал сигнала ни к началу, ни к концу выступлений и никогда не прерывал плавного течения рассказа; он находился там не для того, чтоб разнимать или призывать к порядку забияк. Звон его раздавался исключительно в тех случаях, когда тот или иной из выступающих слишком уж увлекался своим охотничьим рассказом, когда рыбы начинали приближаться по размерам к китам Арктики, а вес изловленных носителей чешуи чрезмерно обременял чаши весов присутствующих. Пробужденный председателем, секретарем или казначеем, колокольчик напоминал тогда тремя размеренными ударами о том, что рассказчик слишком далеко зашел в дебри творческого домысла, на добродушных, разрумяненных вином лицах играла каждый раз улыбка, а большой хлебок из полного стакана вина вознаграждал рассказчика за его богатую фантазию. И голос колокольчика отнюдь не нарушал всеобщего мира и согласия; напротив, он скорее углублял и укреплял их. Таким образом, колокольчик служил лишь связующим звеном между рассказчиком и слушателями, никогда, однако, не вмешиваясь, не обрывая.

Итак, в тот вечер обсуждался «шабаш ведьм» и большинство участников уже поделилось с присутствующими своим опытом в области этого интересного явления, рассказав о необычайных послеобеденных или вечерних часах, проведенных ими на берегу рек, — часы, когда рыбы, как шальные, накидываются на любую приманку, когда веснянки роятся над водой, лососевые охотятся на толкущихся столбиками в воздухе перепончатокрылых, двукрылых и сетчатокрылых, когда ручьи и реки внезапно раскрывают свои рыбные богатства и водяной выдает непосвященным все свои заветные сокровища. Рыболовы правильно, совершенно правильно окрестили эти необыкновенные часы: «шабаш ведьм». Большие и маленькие форели выплывают одновременно охотиться на мух. Они снуют и хватают, выскакивают из воды и ловят, молниеносно шныряют вверх и

вниз по течению, кувыркаясь, сверкая чешуей; в этом чуде открываются нам все тайны рыбьего мира, все сокровища, ревностно хранимые водами в течение года и обнаруженные лишь на несколько часов. И все же «шабаш ведьм» известен каждому рыболову. Это одно из самых дорогих сердцу удильщика воспоминаний, более того — неиссякаемый источник разговоров между рыболовами, когда они рассказывают друг другу про самые волнующие часы своей жизни, когда под властью нахлынувших воспоминаний просто не знаешь, с чего начать и на чем кончить свое повествование.

В тот вечер большинство присутствующих уже поделилось с остальными своими похождениями и колокольчик не раз выполнял свое назначение. Рыболовы уже допивали свое вино и подумывали о возвращении домой, когда вдруг слова попросил молчавший до тех пор гость, впервые переступивший порог этого помещения.

Председатель с подчеркнуто авторитетным видом вскинул голову, казначей и секретарь распрямили чуть ссутулившиеся под воздействием вина спины; из уст присутствующих невольно вырвалось возбужденное: «Слушайте, слушайте!» Вряд ли когда-нибудь с таким напряженным вниманием ожидали рассказа члена общества или гостя, как теперь, когда лесничий Германн Гронер начал свое повествование:

— Многие из вас, дорогие друзья-рыболовы, вряд ли близко знакомы со мной; и если я осмеливаюсь сейчас рассказать вам небольшой эпизод из своей жизни, происшедший недавно и еще совсем свежий в памяти, то прошу вас снисходительно отнестись к моему повествованию.

Я только недавно вернулся из поездки в Трансильванию. Там, в этих прекрасных краях, о которых и вы и я знаем еще так мало, мне привелось быть очевидцем такого изумительного «шабаша ведьм», какой вы вряд ли сможете себе представить; да и, вообще, по всей вероятности, вы сочтете мой рассказ преувеличением. Надеюсь все же, что колокольчик не ощутит потребности звонить, так как то, что я расскажу вам, с начала и до конца правда, да к тому же я и не хочу употреблять слова или выражения, которые могли бы вам показаться преувеличенными или неправдоподобными.

Приглашенный одним из бывших товарищей по учебе в эту богатую румынскую область, я выехал в первой по-

ловине апреля в Трансильванию, чтобы ближе познакомиться там с карпатским глухарем.

Глухариный ток прошел удовлетворительно, хотя нам и пришлось перенести довольно непогоды, выюжных дней и немало остальных причуд дикой карпатской природы, которая как нельзя более красноречиво пыталась доказать в эти вальпургиевы ночи, что она безраздельно владеет всеми этими горными громадами и совсем не расположена делать что бы то ни было в угоду человеку.

Итак, ток почти кончился, с высокогорных пастбищ стал сходить снег, следы медведей не отпечатывались уже больше каждое утро на снежном насту седловин, ручьи постепенно вновь обрели утраченную во время паводков кристальную прозрачность и сбегали по каменистым ложбинам белыми пенистыми водопадами; наступила последняя вальпургиева ночь, отпуск мой приходил к концу, и я уже начал думать об отъезде.

«Останьтесь еще денек-другой, — уговаривал меня мой приятель-охотник. — Познакомьтесь и с нашей ловлей форели. Внизу, в долине Лотриоары, толкуются сейчас целые тучи лесной мошкеры, первые комарики роятся по вечерам над водой, резво шныряют по валунам, вокруг которых бурлит вода, а форели жадно хватают насекомых, как только они садятся на воду — передохнуть или отложить свои яйца.

Проведите у нас эти первые майские дни; ваша работа и ваши крупные отечественные форели от вас не уплывут, а может быть, вам посчастливится увидеть и наш скромный трансильванский «шабаш ведьм».

К тому же, — добавил мой товарищ по охоте, и тень улыбки скользнула по его лицу, — вы сможете завтра лично познакомиться с нашим рыбным хозяйством. Оставайтесь же еще у нас денька два-три; вы сможете сходить с нами вместе в горы, к местам, богатым форелями, и даже если и не встретите у нас «шабаша ведьм», соответствующего вашим, немецким понятиям, то вас сполна вознаградит за усилие красота нашей природы, бурное наступление карпатской весны, и вы, наверное, не раз с удовольствием вспомните эти майские дни. А пока что спокойной ночи! Пусть вам приснится что-нибудь очень приятное — ну, там, про охоту на крупного зверя или «шабаш ведьм» на берегу реки. Сегодня ведь вальпургиева ночь!»

Добрые пожелания моего друга, согласно которым мне должна была присниться в ту ночь охота на медведя или кабана, не сбылись. Я спал глубоким, крепким сном, без всяких сновидений; но холодный, бодрящий горный воздух удивительно освежил меня за ночь, и утро застало меня готовым к походу.

Мы покончили с подготовкой наших удочек уже в пятом часу дня, когда тень, отбрасываемая горным массивом Прежба, протянулась до противоположных склонов. Мой друг и школьный товарищ предоставил мне рыбалить в низовьях Лотриары, в которую здесь впадает ручей, именуемый Гырку, а сам решил попытать счастья выше по течению, подле ручья Фаркасса. Я с благодарностью согласился с этим распределением, насадил на крючок муху из тех, немногих, которые здесь можно было поймать, и тотчас же занял свое место на берегу реки, бурно катившей свои воды в долину.

Было ли слишком рано? Мухи мои не пришлись по вкусу форелям? Или, может быть, моя техника заброса не соответствовала местным, карпатским условиям? Я тщетно искал и не находил объяснения тому, что рыба не клюет.

Я закидывал удочку раз за разом. Мухи описывали над водой плавную дугу, легко ложились на поверхность бурливого потока, подпрыгивали на волнах, трепетали на перекатах, плыли над омутами и ямами, порхали над стремившимися в долину водами, вспархивали вновь высоко над моей головой и снова летели в воду, к моему новому разочарованию. Все было напрасно! Как видно, трансильванский водяной был еще более скупым, чем наш отечественный, немецкий, и ревностно охранял свои столь скудные здесь сокровища, лукаво подсмеиваясь над моими тщетными усилиями.

Вскоре я отказался от своих тщетных попыток, сел на камень и, устремив взгляд на шумный, бурливый поток, спокойно закурил папиросу.

Думаю, что прошло совсем немного времени — солнце между тем окончательно скрылось за цепью Прежбы, — когда я вдруг заметил плывущую вверх по течению форель. В следующую же минуту вторая схватила на лету мелькнувшую над водой мошку, третья выпрыгнула из воды в погоне за тяжело пролетевшей мухой, промахнулась, еще раз высоко взметнулась из воды и, выполнив настоящее сальто-

мортале, которому мог бы позавидовать любой цирковой артист, поймала-таки свою жертву.

Две минуты спустя, как раз когда я докурил папиросу, — «шабаш ведьм» был уже в полном разгаре. Откуда вынырнуло внезапно такое бессчетное множество форелей? В мягком, тихом сумеречном свете вся вода приняла золотисто-зеленую окраску, одновременно напоминая и золотые кудри русалки и зеленые космы водяного. Во всех омутках и водоворотах, на всех перекатах играли то малахитовые, то изумрудные, то синие, как сафир, блики, переходящие в золото, чтобы вслед затем снова загореться медно-красными огнями невидимого солнца. И в этой игре, в этой непрестанной смене красок, которые не смог бы передать ни один художник, в этой гармонии теплых и холодных цветовых тонов, вся вода кишела рыбными телами, прыгавшими за пролетавшей над ними мошкой. Полные ликующей радости жизни, безудержно жажда преследовать, ловить, хватать, охотиться за добычей, в стихийной, вольной игре и все же в целеустремленном сновании вверх и вниз по течению, форели выбрасывались из воды в погоне за насекомыми. Мне привелось и впрямь присутствовать здесь при таком оживленном, таком безудержном, диком «шабаше ведьм», какого я еще не видел.

Как мог говорить мой друг, что здесь, в Трансильвании, это явление не ярко выражено, что оно протекает бледно, неполноценно? В этих краях, изобилие и красота которых нашли свое отражение в прекрасных народных песнях, «шабаш ведьм» раскрылся мне, пожалуй, в еще большей полноте и силе, чем у нас, оказался еще более волнующим на фоне этой дикой, романтической природы. Как это сказал мой друг? «В наших водах, где так мало рыбы...» Мало рыбы? Здесь, где за каждым камнем, в каждом водовороте, каждом омуте, на всех перекатах и у отмелей жизнь пробудилась так внезапно, с такой неподозреваемой, безудержной, бьющей через край силой? Как можно было говорить здесь о недостатке в рыбе? Здесь, где жизнь была ключом, где отдельные рыбы терялись в целом море, в потоке, хлынувшем из глубины, со дна реки, из подводного царства? Казалось, духи вод внезапно раскрыли моим глазам все самые сокровенные сокровища реки, все рыбное богатство, таящееся в ее глубинах, предлагая его моим взорам и суля вознаградить сторицей за столько дней без улова.

Я забросил свои приманки в эту клокочущую, кипящую массу рыбных тел и стал вылавливать рыб одну за другой. Казалось, изобилию этому не будет конца. Но не успел я, однако, закинуть удочку в шестой раз, как произошло нечто до того взволновавшее меня, что я забыл и про форелей и про мух и даже отказался от своей, столь удачной ловли. Ибо теперь начался такой «шабаш ведьм», какого я еще не видел — и вряд ли еще когда-нибудь увижу в своей жизни.

В момент, когда, двойным броском далеко закинув удочку, я снимал с крючков добычу, выше меня на склоне горы послышался шум и треск ломающегося под тяжестью грузного тела валежника, в долину покатались камни, прибрежная галька закрипела под упругими копытами, и через минуту в русле реки показался большой и сильный олень. На лбу его, сквозь сеть свинцово-серых мелких завитков шерсти, пробивались теперь, в начале мая, лишь небольшие отростки будущих рогов. Я тотчас же отдал себе отчет в том, что передо мной стоит прекрасный, редкий экземпляр оленя, какие уже не встречаются у нас, в Германии. Оленя, голова которого обещала со временем украситься великолепнейшими рогами с шестнадцатью, восемнадцатью, а то и всеми двадцатью отростками.

Сбежав со всех ног в долину, олень с разбега вскочил в воду и остановился шагов на тридцать выше меня по течению, в глубокой вымоине, где вода доставала ему до половины лопатки, и громко, сердито фыркнул. Несколько секунд спустя из-под растущих на склоне елей вынырнули две серые тени, два волка, и остановились на берегу реки, против оленя, оскалившись и тяжело дыша.

Олень стоял в воде. Поздним летом, осенью или зимой, когда рога его достигли бы полного развития, он мог бы — несмотря на столь неравное распределение оружия — использовать их для самозащиты. Но теперь он был лишен и этой возможности и, казалось, должен был стать беззащитной жертвой волков.

Первой моей мыслью было: так значит, и теперь, в начале лета, серые хищники охотятся на красную лесную дичь. Травят взрослого, опытного оленя, как и годовалого олененка, упорно преследуя их по горам и долинам, до тех пор, пока несчастное, загнанное животное, в смертельном страхе спасаясь бегством, останавливается где-нибудь,

дрожа от усталости, и становится легкой добычей для стальных челюстей.

Я соскользнул с валуна, на котором сидел, и спрятался за ним. Хотелось проследить за этой сценой, какой, пожалуй, еще не видел человеческий глаз, и прийти на помощь оленю, помочь ему снова уйти в его бескрайние леса лишь тогда, когда он, в самом деле, окажется в опасности.

Олень стоял в воде, которая доходила ему до половины лопатки. А всего метрах в трех от него, отделенные лишь узкой полоской бурливого потока, вверх и вниз по берегу бегали волки, не сводя жадного взгляда желтых глаз с этого лакомого куска.

Но почему же они не осмеливались прыгнуть на оленя? Для них ничего не стоило легко перемахнуть через эту водную преграду и очутиться на спине у могучего животного. С жутким лязгом сомкнулась бы волчья пасть, и лесной великан в серой как сталь шкуре взвился бы на дыбы, тщетно пытаясь защититься, стряхнуть с загривка волков, и, в конечном счете, пал бы жертвой все глубже впивающихся в его тело клыков.

Волки умеют плавать. Один из них мог переплыть реку и атаковать оленя сзади, вцепившись в заднюю ногу, тогда как другой, набросившись на него спереди, схватил бы его за горло. Я смотрел и никак не мог понять неуверенного, трусливого, нерешительного поведения волков, метавшихся вверх и вниз по берегу, скаля клыки на оленя. Единственное, что я мог предположить, это — что у них не хватало смелости атаковать.

А олень? Неужели же он знал, что волки не бросаются на дичь, стоящую в воде? Похоже было на это, так как он не проявлял ни малейшего признака беспокойства или страха. И мне казалось, что этот олень, который, по всей вероятности, сумел не раз в течение шести-семи лет уйти от медведя и от волка, от рыси и от овчарок, спасаясь от серых разбойников в реке, действовал так не по инстинкту, а на основе богатого жизненного опыта. Вода представлялась ему более верным убежищем, чем суша; он либо чувствовал среди этой стихии свое превосходство над волками, либо понимал, что хищники слишком боятся воды, чтобы решиться атаковать его посреди потока.

Во всем его облике нельзя было подметить и тени страха. Он стоял спокойно, высоко подняв голову, и следил за ма-

лейшим движением волков с напряженным вниманием, я бы даже сказал, с видом превосходства. Он не считал, очевидно, необходимым оборачиваться на них; разве только повернет чуть заметно голову, скосит слегка глаза вправо или влево; вот и все, что я мог заметить в этом тордом животном. Это походило на встречу одинокого рыцаря с двумя разбойниками, которые оробели при виде его славных боевых шрамов и не смеют наброситься на него.

Волки были, несомненно, молодые, переемки, которые только-только достигли годовалого возраста и теперь, — когда волчицы были заняты новым выводком, а матерые волки угрюмо рыскали своими путями-дорогами, — нуждались в стае, в вожаке, который подал бы им сигнал к нападению. Они еще не умели использовать для этого самый выгодный момент, были еще слишком не самостоятельными, чтобы восторжествовать, молниеносно напав на него, над таким крупным зверем, которого они нечаянно подняли на склоне.

Как мне не доставало в эту минуту моего ружья, которое осталось в своем чехле там, внизу, в охотничьем домике на берегу Лотриары! Как легко было уложить двумя выстрелами волков и спасти оленя! И как приятно вернуться на родину с двумя волчьими шкурами на память! Тщетные сожаления! Если водяной мог быть скупым и неприветливым, то и Диана могла оказаться такой же, открывая лишь подчас свой рог изобилия — и только для того, чтобы глаза ловчего могли сполна упиться этим зрелищем, а не для того, чтобы позволить охотнику рассеять выстрелом очарование минуты.

В ночные часы, когда мы лежали у пылающего костра подле пастушьего шалаша, мой товарищ по охоте, уроженец этих краев, много рассказывал мне про карпатских волков. Он был убежден, что волки никогда не нападают на человека — ни суровой зимой, когда они ходят крупными стаями и голод жестоко терзает их, ни в ту пору, когда на земле уже стоял снег, когда эти лесные гиены становятся самыми трусливыми из всех зверей, рыщущих по карпатским лесам. Я вспоминал теперь эти рассказы, и они казались мне вполне соответствующими действительности; поэтому свое намерение помочь оленю в его схватке с волками я рассматривал не как геройский подвиг, а просто

как вмешательство, которое должно было обеспечить перевес беззащитному, но гордому оленю.

Несколько успокоившись, я смог наблюдать теперь не только за оленем и волками, но и за происходившим вокруг. Всего на какие-нибудь два метра выше по течению и настолько же ниже оленя форели продолжали по-прежнему гоняться за мухами, стремительно выбрасывались из воды, переворачивались в воздухе и снова падали в родную стихию, ловко ловя на лету насекомых широко открытой пастью. «Шабаш ведьм» был в полном разгаре, но не только в воде; казалось, его справляют не только волны и рыбы, но и животные с горячей кровью, и сама земля, и воздух. Средоточием всего происходящего оставался, однако, олень, на правом ухе которого я различал теперь охотничье клеймо.

Тактика волков, суетливо бегавших по берегу, уставив жадный взгляд и скаля клыки на оленя, была более чем смешной. Такой способ нападения был недостоен карпатских хищников и смахивал скорее на глупое мальчишество, которым все же, безусловно, преследовалась серьезная цель, несмотря на отсутствие решимости для ее выполнения, на ребяческое предприятие, лишенное смелости. нужной для решающего, последнего скачка.

Но тактика эта внезапно изменилась. Один из волков пробежал несколько шагов вверх по берегу, осторожно спустился в бурлящую воду, отпрянул раз-другой назад, испугавшись глубокого течения, но все же в конце концов бросился в реку, быстро-быстро гребя лапами по направлению к противоположному берегу.

И эта попытка перебраться на тот берег выше оленя, чтобы угрожать ему с той стороны, оказалась опять-таки необдуманным поступком молодого и неопытного волка. Он не учел быстроты течения реки, не рассчитал, по молодости и неопытности, куда именно отнесет его течением. Доверившись потоку слишком близко к оленю и подхваченный стремительным течением, он не мог достигнуть противоположного берега выше оленя.

Пора ли мне было вмешаться?

Нет! Это было преждевременно. Молодой волк не мог в одиночку с первой же минуты совладать с оленем. Я решил ждать и не пожалел об этом!

В минуту, когда почти беспомощный волк, уносимый течением, подплыл примерно на метр расстояния к могучему животному, олень с неподозреваемой, молниеносной быстротой повернулся в четверть оборота, несмотря на стремительное течение поднялся на дыбы, чтобы затем со всей силой своих трехсот килограммов веса раз, второй, третий грузно опустить передние копыта на голову, загривок и туловище волка.

Река продолжала свой бег, пенясь и разбиваясь о камни. Только воды ее, до тех пор кристально чистые, чуть замутились, окрасившись кровью растоптанного волка. Труп его поплыл вниз по течению, тяжело перевалился через пороги и застрял у одного камня. Олень стоял, не шелохнувшись, снова в своей прежней позе, слегка повернув голову к оставшемуся на берегу волку, который никак не мог понять случившегося.

Когда я поднялся со своего места, чтобы вытащить тело растоптанного волка из воды, второй серый разбойник, поджав хвост, бросился наутек вверх по склону. Олень постоял еще с минуту в воде, глядя на меня с укоризной, как бы негодуя на то, что я частично лишил его успеха или, может быть, даже окончательной победы, потом спокойной поступью вышел из воды и стал взбираться в гору по противоположному склону.

Вечером, когда я рассказал этот эпизод своему приятелю и показал ему в доказательство раздробленное тело волка, лицо его озарила довольная улыбка.

— Я знаю этого оленя, — сказал он. — Это тот самый — Курт, которого я вырастил и затем выпустил на волю. Когда он жил у меня, ему не раз приходилось выдерживать сражения с дворовым псом и с собаками, вторгавшимися к нам с улицы. Он всегда был сорвиголовой, умел постоять за себя и добился, очевидно, и здесь, в сердце гор, положения повелителя, заставляющего уважать свою волю. Пометка на правом ухе позволяет опознать его. В прошлом году рога его имели шестнадцать отростков и вряд ли их будет меньше в этом году. Ему теперь ровно девять лет; шесть из них проведено на воле. Мы щадили его все это время и будем щадить и впредь.

Вот, господа, при каком «шабаше ведьм» я присутствовал в трансильванских Карпатах. Это был замечатель-

ный, великолепный «шабаш», какого я в жизни своей не видал в наших богатых рыбой немецких реках. Друг мой оставил мне на память об этом дне волчью шкуру.

Лесничий Германн Гронер закончил свой рассказ. Слушатели сидели молча, не шевелясь. Никому из них еще не посчастливилось быть свидетелем такого «шабаша ведьм». И так как рассказ этот блестяще завершил их собрание, все они молчаливо разошлись после него по домам, заранее радуясь следующей встрече.

ГОРНЫЕ КОЗЛЫ С БЕРЕГОВ РЫУ-ВАДУЛУИ



Там, где бурливый горный поток Рыу-Вадулуй впадает в Олт, у большой дороги, на перевале Турну-Рошу стоял дом Митики Тэбэкуца. В дни, к которым относится наш рассказ, Рыу-Вадулуй был еще пограничной рекой, и дом этот как бы специально был создан для того, чтобы переправлять через границу контрабанду, служить временным пристанищем контрабандистам и путем обмена денег и товаров лишать их части выручки. Об этом, однако, не очень-то печалились контрабандисты, так как зарабатывали они на контрабандных товарах хорошо, а вино и сливовая водка в корчме у Митики Тэбэкуца были отличные. Во всяком случае, спиртные напитки значительно повышали мужество контрабандистов перед набегами в чужие земли, а когда поход завершался удачей, поднимали настроение победителей.

Митика Тэбэкуц в качестве корчмаря участвовал обычно по приглашению контрабандистов в их попойках, а жена его тем временем орлиным оком следила за тем, чтобы кутилы платили за все выпитое — и даже более! Митика любил выпить; но главной страстью его была охота, охрана которой здесь, в пограничной зоне, была поставлена чрезвычайно слабо. Ведь для браконьера, преследуе-

мого венгерскими жандармами, легче легкого было в несколько больших прыжков, петляя среди сосен, пересечь ручей и перемахнуть на румынскую территорию.

Именно здесь, в этой пограничной зоне, водилось больше дичи, чем на северных и южных склонах горного хребта, разделяющего обе страны. Здесь встречались медведи, дикие кабаны и косули, реже — волки и лисицы. Но дичью, больше всего привлекавшей Митику, были горные козлы, которые представляли собой чрезвычайно странное явление, образуя как бы островок в скалистых ущельях долины Рыу-Вадулуй.

По левую сторону Олта высился горный массив Фэгэраша, где горные козлы водились в изобилии, но только на высоте 1400—2500 м над уровнем моря. На правом берегу реки, за горными хребтами Чибина и Лотру, высился массив Парынга, богатый горными козлами. Правда, и Чибин и Лотру превышали 2000 м над уровнем моря, но горные козлы водились в небольшом количестве только в окрестностях Рыу-Вадулуй.

Леса со всех сторон обступили утесистые кручи этой долины, достигавшие от силы 1000 м и сбегавшие до самого дна долины, где высота над уровнем моря не превышала шестисот метров. Обосновавшиеся здесь серны образовали островок, не получавший пополнения ни со стороны Фэгэрашских гор, от которых их отделяет ущелье реки Олт, перевал Турну-Рошу, ни со стороны Парынга, расположенного почти в ста километрах отсюда и не имеющего связи с этими горными массивами. Долина Рыу-Вадулуй была как бы скалистым островком, затерянным среди волнующегося моря лесов, а наличие здесь серн — результатом странной случайности, благоприятствовавшей сохранению последних оставшихся здесь потомков горных козлов, отрезанных от других своих соплеменников. И все же, несмотря на то, что это немногочисленное поголовье серн не пополнялось извне, до появления здесь Митики Тэбэкуца можно было отметить значительный прирост козлов, свидетельствовавший о большой жизнеспособности этой дичи.

Единственным врагом серн был Митика Тэбэкуц. Рысь охотилась здесь редко, волки появлялись только в одиночку и не могли преследовать серн по отвесным утесам. Один только Митика умел подстерегать их среди скал, усеянных гнездами хищных птиц, убивал без разбора и пощады —

серну подле козленка и козленка подле матери-серны. А так как здесь имелись и две теснины, два узких ущелья меж скал, сквозь которые козлы были вынуждены проходить; он ухитрялся ловить их даже и капканами.

Вследствие всего этого стадо козлов, столь жизнеспособное поначалу, стало быстро редеть, и можно было уже предвидеть, что Митика окончательно переведет их в ближайшем будущем. Но тогда произошло нечто совсем неожиданное. Последние остатки горных козлов из Рыу-Вадулуй отказались от своего обычного образа жизни, лишь изредка взбираясь на скалы, и превратились в настоящих лесных обитателей; бродили теперь по лесам, совсем как косули, паслись на лесных полянах и в малинниках и разбрелись так далеко по окрестностям, что отдельные экземпляры их можно было встретить на расстоянии нескольких миль от места их первоначального пребывания, на участках, которые казались скорее подходящими для косуль, отнюдь не для горных козлов.

Теперь Митика Тэбэкуц охотился на серн с собаками. Четыре-пять выжлецов выгоняли дичь, а Митика стоял у входа в ущелье и стрелял все, что бежало на него: самцов, самок и козлят. Только одного самца, крупнейшего во всем Рыу-Вадулуй, ему не удавалось подстрелить, несмотря на то, что он его все время выслеживал, все время ходил по его пятам.

Примерно в конце мая месяца Митика принес своим сынишкам с охоты новорожденного козленка. Он подстерел и застрелил серну, а подле мертвой самки нашел однодневного козленка, которого и изловил после утомительного преследования.

Старший из его сыновей уже не раз сопровождал отца на охоту, и охотничья страсть всецело владела им, как и его отцом. Он почти не обратил внимания на эту детскую игрушку; его влекла стрельба, вид подранка, вздымающегося на задние ноги, поиски по кровавому следу, возможность одурачить жандармов, свежее мясо, еще дымящееся теплой кровью, вздетое на вертело и поджаривающееся над костром. Младший же нашел в козленке чудесного товарища игр, а козленок, несколько дней прихварывавший и избежавший мальчика, быстро поправился, когда ему дали в кормилки домашнюю козу. Он скоро приручился и теперь

он, коза и Раду — так звали младшего сына Митики — составляли неразлучную тройку друзей.

С середины мая и вплоть до последних дней июня длился переход больших овечьих отар, перезимовавших на равнине, а теперь направлявшихся долиной Олта к горным вершинам и пастбищам. Под присмотром пастухов рысцей бежали подле непрерывно блеющих белых и черных овец их лохматые сторожа, овчарки, вечно голодные, кормящиеся лишь тем, что попадало на их волчьи клыки.

Раду, коза и козленок были на берегу реки, когда мимо них проходило такое стадо. Коза пощипывала редкую травку, пробивавшуюся меж прибрежных камней, козленок скакал как шальной с камня на камень, а Раду бросал камушками в прибрежные коряги и другие цели. Внезапно на резвившегося козленка с громким лаем набросились пастушьи собаки. Отрезанный ими от Раду и своей кормилицы-козы, козленок не нашел иного выхода из положения, как только броситься в мутные глинистые воды Олта, вздвнувшегося от сбегавших с гор талых вод. Тщетно пытался бороться с яростью волн слабый козленок, подхваченный стремительным потоком. Раду не долго думая бросился в воду спасать своего любимца. Но, когда мальчик уже добрался до козленка, бурное течение подхватило его, и минуту спустя на глазах у пастухов, не умевших плавать и не осмеливавшихся прийти ему на помощь, исчез в реке вместе с козленком.

Неподалеку от впадения Рыу-Вадулуй в Олте был глубокий и широкий омут. Воды реки струились там медленно, лениво, как бы лишенные сил, не поднимая волн, образуя у берега обратное течение, местами как бы и вовсе останавливаясь. Именно здесь надеялся Митика найти маленького утопленника. Но течение выбросило детский трупик на берег лишь спустя несколько дней.

Похоронив мальчика вместе с козленком, которого тот крепко держал в объятиях, на поминках священник отвел Митику в сторону и серьезно поговорил с ним относительно его пагубной охотничьей страсти. Особенно настоятельно просил он Митику отказаться от охоты на горных козлов, которых тот почти совершенно перевел в этих местах. Не дело, мол, лишать малых козлят матери, уводить их из лесов, куда определила их сама природа.

В течение недели Митика воздерживался от охоты. Но затем, чуть приглушенное пламя его страсти вспыхнуло с новой силой. Он, правда, утверждал, что намеревается выстрелить еще только одного-единственного — того, самого крупного из всех — козла, а затем навеки отказаться от охоты; но это были одни слова. В июле он принес домой серну — исключительно из-за отсутствия мяса, по его словам, а вскоре затем еще одну. И все опять пошло по-старому.

Примерно в начале августа контрабандисты уговорили Митику сопровождать их в крупном походе. Они собирались закупить по ту сторону границы шелка, полотна и высококачественной кожи, чтобы затем сбыть эти товары в Румынии по тройной цене. Они посулили Митике, которому предстояло — благодаря знанию языка — помогать им при покупках, четвертую долю выручки и даже дали неплохой задаток. И Митика обещал им свое содействие, тем более, что ему чрезвычайно нужны были порох и патроны, которые нельзя было добыть в горных селах.

Контрабандисты — трое по счету — и Митика вышли из дому дождливой августовской ночью и окольными путями перешли границу.

Митикины выжлецы слонялись в эти дни по корчме и двору, глупыми собачьими глазами смотрели друг на друга и совсем не понимали, куда запропастился их хозяин. До сих пор их почти ежедневно брали на охоту, теперь же, вот уже третий день, они валялись по углам в корчме, получая то пинок ногой, то удар палкой, зевали и смертельно скучали. На четвертое утро, как раз когда их вытолкали ногами из корчмы на двор, собаки внезапно услышали со стороны лесной опушки знакомый свист, которым хозяин звал их всегда на охоту. Повизгивая от радости, они со всех ног бросились ему навстречу, но вместо хозяина нашли там его сына, который стащил из дому, из спальни, всегда заряженное ружье отца и решил самостоятельно попытать счастья на охоте. Собаки последовали за ним так же, как следовали обычно за его отцом. Им было безразлично, кто охотник. Важно было одно: чтоб ружье несли на охоту. А кто его нес, было для собак делом совершенно второстепенным.

Митика Тэбэкуц-младший, такой же хитрый и скрытный, как и его отец, только еще более безумно смелый, еще

более пылкий, чем он, направился к Мануиловым утесам, где отец его почти не охотился в последнее время. Там, по соображениям мальчика, на скалах Рыу-Вадулуй, должны были водиться горные козлы, там можно было, под прикрытием утесов, скрываясь в ельнике, подстеречь одного из них на небольшом расстоянии, если вспугнутая собаками дичь будет искать укрытия среди скал.

Собаки скоро попали на след. Гон кружил широкими дугами, обходя скалистые кручи, так что мальчишка начал было опасаться, что попал на след не козла, а косули, которая, преследуемая собаками, старательно обходит скалы. Но внезапно дичь промелькнула перед ним и бросилась на утесы, и юный Митика убедился в том, что преследует козла. Это предположение подтвердилось, когда он вскоре услышал глубокий лай собак, загнавших дичь куда-то между утесов.

Если рысь умела подкрасться к своей добыче, то это умел и Митика! Если у рыси был острый глаз, то у него глаза были еще острее. Если шкура рыси, вся в рыжих пятнах, смахивала на земле, в лесу, на опавшую листву, на которой играют солнечные блики, то серый охотничий костюм мальчика еще больше походил на камни.

И старый горный козел, старейший козел из Рыу-Вадулуй, не видел, как пядь за пядью подползает к нему мальчик, скрываясь за камнями, деревьями, травой и кустами. Ветер дул с гор, но мальчик подкрадывался к козлу с подветренной стороны и ни малейший запах не выдавал козлу близость человека. Громкий собачий лай покрывал любой звук — падения сорвавшегося камня, шорох осыпающегося щебня. Со дна долины доносилось журчание горного ручья, утренний ветер пел свою одностонную песенку в ветвях елей. И горный козел прислушивался только к лаю собак, твердо зная, что они не смогут никогда добраться до него и, в конечном счете, через несколько часов вынуждены будут ретироваться, поджав хвост и осипнув от лая.

Внезапно его с силой рвануло назад, он осел на задние ноги; и лишь тогда, перекрывая шум ручья, песню ветра и собачий лай, в долине прогремело эхо выстрела. Когда скалистые стены в последний раз отразили его отголосок, козел уже снова поднялся; но одна из задних ног у него была перебита, бедренная кость раздроблена выстрелом. Один за другим раздались вслед затем два выстрела дробью.

Но что мог дать выстрел дробью из старой трехстволки на расстоянии свыше ста шагов? В козла не попала ни одна дробинка, и теперь мальчик держал в руках разряженное ружье. Других зарядов у него не было. Легкомысленный, как любой юнец, он увлекся и расстрелял на расстоянии, где нужна была пуля, и свои заряды дрови. Теперь ему нечем было стрелять, нечем было прикончить козла, который не мог уже осмелиться прорваться на трех ногах из окружения собак.

Что оставалось делать? Бежать домой за патронами? От Мануиловых утесов до дому было слишком далеко: больше часа ходьбы под гору и полтора часа обратного пути, в гору. Да и к тому же мать, по всей вероятности, уже обнаружила пропажу ружья и поджидала сына с палкой в руках. Нет, бежать домой не было смысла.

Отказаться от козла? От старого козла из Рыу-Вадулуй, за которым отец его охотился вот уже несколько лет, но к которому ему никогда еще не удавалось подкрасться на расстояние выстрела? Нет, ни за что на свете! Что же следовало предпринять? Покуда собаки держались еще в долине, козел не мог покинуть на трех ногах своего убежища на выступе скалы. Вверх по склонам он бы не мог никогда уйти, даже и на всех четырех здоровых ногах; в стороны тоже не было хода. Там поднимались совершенно отвесные стены, без малейшего уступа, ни расщелины, на которых могли бы найти опору козлиные копытца. Собаки под скалой отрезали козлу всякую возможность отступления. Попробовать, что ли, вскарабкаться вверх, на узкий, не раз прерывающийся, поросший травой карниз, на котором стоял козел? Мальчик не знал страха, как не знал и головокружения. Итак, это был единственный возможный способ. И он решил добраться до козла и либо заколоть его ножом, либо столкнуть вниз, в пропасть!

Ни один более или менее опытный охотник на горных козлов никогда не решился бы на столь рискованное дело. Это осмелился сделать мальчишка, которому только-только пошел пятнадцатый год; он и не представлял себе, как страшно силен горный козел, не думал, что даже и с подбитой ногой это гордое животное обладает среди скал огромным над ним превосходством!

Медленно карабкался Митика-младший к узкой полоске травы на головокружительной высоте, зажав нож в зу-

бах и подтягиваясь на руках пядь за пядью, от выступа к выступу, от расселины к расселине.

Наконец он добрался. Козел на своей полоске травы отступил назад сколько мог. Кровь по-прежнему струилась из раны, оставляя на скалистой стене длинный алый след, и мальчик воображал, что сможет легко преодолеть сопротивление ослабевшего животного. Он бросился на козла, согнувшись, готовый левой рукой схватить его за рога, а правой — вонзить в него нож.

Их отделял теперь всего шаг. Козел отступил еще на сантиметр, мальчик подался вперед. И в ту же минуту голова козла пригнулась к земле, боднула, мальчик почувствовал ужасный удар в грудь, рога козла запутались в его куртке, и оба обрушились в пропасть, увлекая друг друга своей тяжестью.

Митика Тэбэкуц нашел тело сына только много дней спустя. На след навела его пропажа ружья. Целыми днями ходил он по лесам, пока, наконец, в верховьях Рыу-Вадулуй, не набрел благодаря собакам на то место, где сын его и старый козел одновременно нашли свою гибель. С тех пор старый браконьер навсегда отказался от охоты. Он потерял из-за горных козлов обоих детей.

С годами корчма у пограничного ручья закрылась, переехали горные козлы в Рыу-Вадулуй, а вместе с ними исчезло и необычайное явление их наличия в такой горной зоне, которую никто не смог бы счесть подходящей для этого рода дичи. Одиночные экземпляры этой породы козлов, которые оставались еще здесь после смерти сына Митики Тэбэкуца, были слишком нежизнеспособными, чтобы вновь окрепнуть и образовать новое стадо. Две суровые зимы, следовавшие одна за другой, и все больше размножавшиеся волки окончательно истребили и последние остатки горных козлов в долине Рыу-Вадулуй.

Митика Тэбэкуц состарился и впал в детство. Когда его угощали водкой и хмель бросался ему в голову, он заливался горькими слезами и проклинал горных козлов, которые убили его сыновей, лишив его поддержки на старости лет.

МЕДВЕДЬ ПРОТИВ КАБАНА



— рости, пожалуйста, — начала жена, переступая порог моего кабинета, — я бы тебя не беспокоила, если бы не лесник из долины Лотриоары. Говорит, что принес тебе важную и интересную новость. Так вот я и подумала, что ты не очень рассердишься, если...

— Ладно уж, ладно, дорогая! Впусти его ко мне. Я и так нуждался в небольшом перерыве, а рюмка водочки — пожалуйста, только крепкой сливянки двойной перегонки — не повредит ни Хуттеру, ни мне. Пожалуйста, приготовь нам бутылку и стаканы и проси лесника ко мне.

Минуту спустя Хуттер, рослый, стройный мужчина с загорелым, обветренным лицом, стоял передо мной, и темные глаза его весело поблескивали при виде стоящей на столе сливянки.

— С добрым утром, господин лесничий!

— С добрым утром, Хуттер! В чем дело? Неужто твоя старуха разрешила тебе, наконец, сбежать на минутку с берегов Лотриоары? Или же ты перегрыз, как твой Гектор, привязь и, хитря, как старый заяц, прискакал ко мне в город, петляя и шутая свои следы? Как бы то ни было, я давно уже ждал тебя на доклад. Но сперва прошу, выпей-ка

водочки. После такого пути не вредно и подкрепиться. За твое здоровье!

— За ваше, господин лесничий! Ух, и крепкая ж!

— Так ты, друг, повтори. Для счета, чтобы не греть желудок только с одной стороны. А вот и сигара — дыми на здоровье! Теперь садись вот тут на стул и выкладывай!

— Так вот, господин лесничий, старуха мне и впрямь на сегодня отпуск дала...

— В порядке, Хуттер. Ну, что у тебя там нового, как поживают твои косули, красная дичь, кабаны? Как презимовали? Волков все так же много? А следы рыси или медведя ты где-нибудь встречал?

— Ах, господин лесничий! Вы же сами знаете, какая у нас в прошлом году плохая осень выдалась. Ни тебе желудей, ни буковых орешков. Поздние майские заморозки уничтожили в цвету все древесные плоды. Ежевики в наших горах, можно сказать, совсем нет, потому что известняка почти не имеется. Черника и брусника уродились в горах, на самых что называется вершинах, где они цвели уже после заморозков, но эти ягоды годятся разве что для медведей, а в общем их было слишком мало, чтобы обеспечить хотя бы и нашим медведям нужный жирок для зимней спячки. Что касается красной лесной дичи, зима была, к счастью, не слишком снежная, да и морозы не слишком сильные. Так что довольно много дичи пережило и самое трудное зимнее время, даже и несмотря на то, что волки перерезали немало косуль да и оленям нанесли тяжелые потери. Но вы же сами знаете, господин лесничий, что волков бывает то очень много, то меньше; это так, как бы волнами, происходит. Бывают годы, когда их расплодится видимо-невидимо, потом опять наступает время, когда их число значительно уменьшается. Природа прибегает к болезням или не позволяет ослабевшим за зиму волчицам приносить больше волчат, чем погибло за год. Настанут опять и времена, когда наши косули и олени размножатся. Но все это вы знаете не хуже моего. Я к вам по другой причине пришел, — и лесник почесал в затылке и покосился на бутылку, — я ведь медведя нашел.

— Как так — медведя? Сдох он? Или его подстрелил браконьер? Или, может, его разорвали волки? Да говори же, Хуттер! Вот тебе еще рюмка водки. Рассказывай!

— Нет, господин лесничий! Медведь-то и не подстреленный, и волки его не задрали. Крупный он был, сильный и, наверное, в схватке с волками задрал бы, прежде чем испустить дух, немало серых разбойников. Да к тому же и я нашел бы на месте происшествия павших волков. Но там не было ни одного, да и волчьих следов я поблизости не мог обнаружить. На месте, где я нашел медведя, был один только след — кабаний! Медведь пал в драке с кабаном.

— А кабан? — тотчас же поинтересовался я.

— Я проследил путь кабана сколько мог, там, где еще не стаял снег; добрых три-четыре километра от места сражения до бесснежного предгорья — кабан шел то в гору, то под гору, реже в гору, а все больше по косогору; вначале я нашел и кровавый след, чуть присыпанный порошей. На последней тысяче шагов, однако, прекращается и этот след; думаю, что зверь отделался незначительным ранением. Расстояние между шагами и размеры копыт бесспорно указывают на то, что это был большой, матерый кабан, и тот факт, что медведь решился напасть на такого крупного зверя, можно объяснить только одной причиной: он был голоден!

— А можно ли восстановить на месте ход этой драматической схватки? — спросил я лесника и еще раз наполнил его рюмку.

— Не совсем, господин лесничий. Могу в связи с этим делать только предположения. Все место схватки усеяно следами. Правда, как я уже это сказал, его слегка присыпало снегом, так что мне не удалось точно расшифровать момент атаки и обороны. Все же кое-что можно установить. Следы медведя и кабана пересекаются. Медведь, очевидно, услышал или почуял приближение кабана, потому что он довольно долго стоял на месте за толстым буком. Затем, когда этот большой кабан хотел протрусить мимо него, медведь попробовал напасть на него спереди, рассчитывая захватить врасплох. Очевидно, это ему не удалось, так как он не смог нанести кабану серьезного ранения и тем менее свалить его с ног смертельным укусом. Многочисленные следы на снегу свидетельствуют о том, что медведь несколько раз пытался схватить кабана сбоку, но и это ему не удалось. Зато кабану удалось, обороняясь, вспороть бок медведя, от пятого ребра и до самого зада, так что медведь на-

ступил на свои собственные кишки и издох через несколько минут после этого удара.

Несколько минут мы оба молчали. Перед нашими глазами отчетливо вставала драма, разыгравшаяся на лоне природы, среди Карпат, в полночь или в предраассветной мгле.

— Что делать со шкурой? — спросил лесник, прерывая молчание.

— Освежевать и принести, если она еще на что-нибудь пригодна.

— Еще пригодится, — ответил лесник, поднялся со стула и распрощался.

Хуттер ушел, а я остался сидеть один в своем кабинете, пуская перед собой дым своей сигареты. Комната постепенно наполнялась голубоватыми облаками дыма, расходящегося в воздухе колеблющимися кругами, чтобы затем растаять, как осенний туман, клубящийся в долинах наших Карпат, садящийся на землю и постепенно редееющий. И из мглы прожитых лет, из сокровищницы прошлого, возникали передо мной воспоминания, картины, порожденные жестокой борьбой за существование нашей исконной карпатской дичи.

Когда я впервые услышал про схватку между медведем и кабаном, я был еще молодым практикантом и смотрел в будущее жизнерадостным, смелым взором. Какое волнение охватило меня, когда лесной сторож Албу передал старшему лесничему шкуры медведя и кабана и рассказал про ход их схватки, согласно тому, что предполагал, думал и знал. А когда Албу рассказывал об охоте, он делал это, как настоящий румынский горец, охотно и пространно, говоря медленно, степенно и веско, рисуя свои картины яркими красками и никогда не упуская случая с помощью соответствующих художественных пауз предельно повышать напряженное внимание слушателей.

Место, где произошла эта стычка, я видел несколько дней спустя после происшествия. Видел и свежеснятую с медведя шкуру, на которой отчетливо были видны страшные удары кабаньих клыков. Видел и шкуру кабана, всю исцарапанную, искусанную, изодранную. И в моем воображении, выступив из прочно сколоченных рамок рассказа Албу, отчетливо, ярко возникла картина этого сражения.

Поздний мартовский снег. Вьюга воеет вокруг массива Пятра Краюлуй, дико пляшут подстегиваемые ветром снежные хлопья, ветер свистит на скалистых хребтах, трещат и валятся деревья в чаще лесов. И над всем этим — снег, снег и снег. Снегопад за снегопадом. Тяжелое бремя на соснах и елях, последний разгул зимы. Потом, наконец, наступает затишье. Днем прогревает весеннее солнце, ночью же царит трескучий мороз. Замерзают обрывы, ледяной корой обрастают откосы, скалы и недоступные для горных козлов, кабанов и медведей, скованные льдом прошлогодние травы.

Над Карпатами раскинулась синева первого весеннего дня. Тянущиеся на север косяки диких гусей отбрасывают блуждающие тени на обрывы и склоны. Они летят над долинами и пиками, перелетают через горные хребты, звонко кричат при виде открывающейся перед ними широкой равнины.

Стая гусей внезапно обрывает свой быстрый лёт, камнем спускается над сосновой делянкой, производит разведку и летит дальше. Внизу, под соснами, медведь устало поднимает голову и следит глазами за дикими гусями, легко и вольно летящими над снежными полями. И голодный, заспанный Потапыч снова, с глубокой покорностью судьбе, опускает тяжелую голову на снег.

Прошла осень была в Карпатах холодной и дождливой. Во всей округе не уродились желуди. В бескрайних буковых лесах, опоясывающих известняковые скалы Пятра Краюлуй, Бучеджь и Пятра Маре, семена деревьев не вызрели, ежевика уродилась на опушках мелкая и в небольшом количестве, да и брусника на высокогорных полянах, как и всякая друтая ягода, дала не лучший урожай. И так как осень оказалась такой скудной на любой вид пищи, медведю пришлось залечь на зиму в свою берлогу, не нагулав жиру, без столь необходимых ему запасов. Трижды пробуждался он поэтому в течение зимы, приюхиваясь к ветру в надежде поворота к лучшему, и трижды был вынужден залечь снова. Но когда, в начале марта, выдались два теплых солнечных денька, медведь поднялся окончательно, отказавшись от дальнейшей спячки, — и это как раз в то время, когда вокруг Пятра Краюлуй завывала вьюга и поздний снег скрывал следы всякой пищи. Теперь он, вот уже несколько дней, голодный и ослабевший, бро-

дил по затверделому насту, срывал мох с наветренной стороны буков и сосен, жевал промерзшие почки куманики и нежные побеги черники.

С солнечного склона горы Зэноага в предрассветной мгле к долине Бырсы направляется большой матерой кабан. От прежнего могучего, сильного зверя, каким он был осенью, осталась одна тень. Он кажется теперь длинноногим, и спина у него стала совсем узенькая после тяжелых лишений снежной поры. Все это время он жил впроголодь, еле подерживая жизнь в своем могучем теле.

Кабан направляется к речке, с трудом продвигаясь сквозь ольшаник, сметает рылом снег с болотистых лужиц, пробивает лед, покрывший корочкой прошлогоднюю зелень, и жадно глотает хрустящий промерзший корм. Ветер, тянувший по долине, внезапно меняет направление, но кабан не обращает на это внимания. Из-за зубчатого хребта Пятра Краюлуй свет все более и более обильно льется в долину. Светает и в ольшанике. Кабан продолжает пастись в русле ручья, громко хрустя обледенелым кормом; лед, затянувший лужицы, звонко раскалывается под его копытами.

Наверху, на правом берегу ручья, наст трещит под тяжелыми шагами зверя. По склонам гуляет ветер, сбрасывая иней с ветвей, и беззаботный кабан не слышит приближения врага. Всего на пять метров выше него стоит медведь, огромный, черный, беспощадный. Темная туша его видна лишь одну секунду; он тотчас же съежился, притаился и лежит, тихо, неподвижно, выжидая благоприятный момент для нападения.

Не будь кругом снега, медведь никогда не осмелился бы напасть на такого матерого кабана. Не сделал бы он этого и в том случае, если бы во время спячки у него был достаточный запас жира.

Но в данный момент не может быть и речи о расчете силы, о колебаниях, трусости или, напротив, чрезмерной отваге. Медведь изголодался, он видит перед собой мясо, кровь, пищу, а затем перспективы долгого сытого сна. Теперь повелевает голод! Он должен принять битву.

И все же он колеблется. Лежит на обрывистом склоне, готовый к прыжку, жадный, но все еще выжидающий. И пропускает единственный благоприятный момент, когда кабан стоит к нему боком, повернувшись клыками к месту,

откуда сходит обычно к воде выдра. Минутой позже он внезапно оборачивается, отступает на два шага назад, к ближайшей ольхе, вздергивает рыло, лязгает клыками, выпирающими из нижней и верхней челюстей. И когда медведь валится на него сверху, как мешок свинца, только огромный вес этого падающего тела заставляет на минуту кабана стать на колени. Но он не теряется.

Дикий, отчаянный, медведь впивается клыками и когтями в сильное мускулистое тело кабана, но теперь ему не удастся больше перекусить ему глотку, как он надеялся сделать это, захватив свою жертву врасплах: кабан ожидал его нападения. С минуту позже кабану удастся снова упереться копытами в землю. Рывок — и он сбрасывает с себя медведя и с первой же атаки вспарывает ему своим острым, как нож, клыком правую лапу.

И медведю приходится отказаться от борьбы. Теперь, когда легкая победа врасплах стала невозможной, когда кабан сумеет постоять за свою жизнь, являясь более сильным противником, чем изголодавшийся медведь, которому еще не много лет.

Крестьянин из села Зэрнешть идет вверх по дороге вдоль Бырсы, к дому лесничества. Он хочет зайти к лесничему, чтобы узнать, когда можно начинать жечь древесный уголь наверху, на новой разработке. Идет себе и думает о своем; но вдруг возвращается к действительности: со дна долины до него доносятся стоны, чье-то прерывистое дыхание, сопение, и два огромных зверя, величиной с быков Зэрнештского случного пункта, бросаются друг на друга, толкаются, дерутся, топчут один другого, расходятся, отпрыгивая назад, обходят друг друга и снова схватываются. Человек застыл на месте, просительно, умоляюще протягивая вперед сложенные руки, шепча невольно молитвы и проклятия, и в конце концов, выйдя из своего оцепенения, бросается наутек к лесничеству, громко крича, словно преследуемый всеми фуриями ада. Неподалеку от лесничества он спотыкается и падает в сугроб, воля от ужаса, как обезумевший, до тех пор, пока из дому не выскакивает испуганный лесник.

Он сперва не понимает ничего из прерывистой, сбивчивой речи крестьянина. Никак не может понять, что именно видел этот человек, и долго сомневается, стоит ли верить

его словам. Потом внезапно вспоминает, что в последнее время ночь за ночью вокруг дома бродил медведь, и соображает, что человек, по всей вероятности, видел именно его. Он быстро вбегает в дом, срывает со стены ружье и спешит в долину, на место поединка.

Он опоздал. На месте остался только один из противников — и не победитель! На изрытом, насквозь пропитанном кровью снегу лежит медведь. В правом боку его зияет страшная рана. Из сонной артерии на снег струится красная кровь.

Лесник идет по следу кабана. Сто шагов, потом еще пятьдесят. И вот на опушке леса устало приподнимается со снега отяжелевшая голова, негромко скрипят в последний раз стиснутые клыки. Выстрел пресекает страдания зверя, устало простирается на снегу его израненное, изорванное тело, и слышится последний стон лесного богатыря.

На горизонте собираются тяжелые грозовые тучи. Дикие гуси косяком пролетают над Пьятра Краюлуй, громко крича при виде открывающейся перед ними широкой равнины. А три дня спустя налетает буйный южный ветер и начинается весна.

Да, по всей вероятности, это так и было. Об этом красноречиво рассказывают раны на истертых уже шкурах прежних противников. Рамками для этого происшествия послужило само место боя. А рассказы крестьянина и лесника явились лишь отдельными дополнительными подробностями к этой повести о яростной схватке двух лесных великанов.

Дважды еще за четверть века привелось мне узнать о таких сражениях. И в том и в ином случае можно было установить лишь смерть нападающего медведя. В этих сражениях победителем, несомненно, был кабан, оба раза спасший свою жизнь.

Ужасные сражения скрывал под сенью своих высоких елей старый карпатский бор! Волки затравливали насмерть гордых, матерых оленей. Собравшись стаей, они рвали весенней порой на части изголодавшихся медведей средней величины. Медведи нападали на могучих кабанов и гибли, истекая кровью, когда им случалось напасть на матерого самца, на старого карпатского кабана.

— Ты здесь? — вернул меня к действительности голос жены — Здесь так тихо, что я было подумала, ты ушел в город. Обедать не будешь? Ну, конечно, какой там аппетит, когда в комнате так накурено, что хоть топор вешай. О чем ты размышлял, неисправимый мечтатель? Или ты снова умчался на Слейпнире, коне Вотана, охотиться в Ниффелгейм?



вешах, оставшихся после моего покойного друга, я нашел следующие заметки. Я к этим мыслям ничего не прибавил, но и не выкинул ничего из них. Они переданы здесь в точности так же, как мой друг занес их в свой дневник, предназначая их, по всей вероятности, лишь для себя самого, на память. Я лично предпринял лишь небольшой подбор, связав между собой отдельные отрывки. Ничего в этом рассказе я не изменял, не сгущал красок, но и не разбавлял их водичкой. Мной в эти заметки были внесены только заглавие и конец, который я добавил после пережитого мною самим.

Я долго стоял сегодня у широкой излучины Олта, там, где большой каменистый остров, поросший редким тальником, вдается клином в мутные воды реки, разделяя течение надвое. Тень прибрежных ив отбрасывала удивительно причудливые узоры на трепетные, пронизанные солнечными бликами воды, и мне подчас казалось, что возникающие из света и тени обманчивые образы допотопных зверей и ящеров оживают, что сам я стою не на берегу нашего ленивого, сонного Олта, а где-то в далекой Африке, у реки, где еще живут эти панцирные животные.

Осеннее солнце быстро скользило по своему косому кругу. Тени то сжимались, то вытягивались и рассеивали творения моей фантазии. Прямо передо мной из воды выпрыгнул золотистый карп, повис на миг вертикально в воздухе, а затем плюхнулся снова, хвостом вниз, в зеленовато-коричневую воду, громко трепыхнув хвостовым плавником. У берега резвились уклейки, между камнями то и дело серебристой молнией сверкали охотящиеся за пищей подусты. Затем, как бы подчиняясь какому-то таинственному световому сигналу, все рыбы внезапно исчезли и между двумя ложившимися на воду тенями стволов, в лучах, сеящихся сквозь листву ив, появилось длинное, как торпеда, злое привидение. Над длинной, примерно в метр, спиной торчал треугольный, как у акулы, плавник, позволявший тотчас же уточнить породу и привычки этой хищной рыбы. Это был большой жерех, который подстерегал здесь свою добычу.

Несколько мгновений спустя эта огромная рыбина снова пропала. Вzbаламученная ею вода позволяла проследить ее путь к старому деревянному мосту, переброшенному на находящийся ниже по течению край островка и обеспечивавшему сообщение через реку.

Да, по всей вероятности, жерех гнезился там, под старым деревянным мостом, где река тяжело катила свои воды, бурля у бетонных быков, оставшихся от прежнего моста, который был взорван во время первой мировой войны. Старый разбойник нашел там хорошее укрытие. А он должен был быть, действительно, очень старым! Было достаточно того краткого мгновения, когда образ его запечатлелся на моей сетчатке, чтобы позволить оценить его вес и размеры. Я дал ему, по меньшей мере, двадцать лет и думаю, что весил он не меньше двенадцати килограммов.

Я посвятил сегодня целый день жереху, обнаруженному неделю тому назад. Перепробовал все блесны, которые только имел: «колорадскую ложку», вертящиеся, летающие, мормышку, под конец попробовал даже, несмотря на их неуклюжесть и большой вес, забрасывать насаженные на удочку большие искусственные мухи. Пробовал и так называемую «Александрку», и большую блестящую муху с красным хвостом. Все напрасно. Рыба-Мафусаил либо не была дома, либо именно в тот день наелась до отвала. Весьма возможно также, что ее любимым убежищем и не был тот ста-

рый деревянный мост, как я это предполагал. В конце концов, я сказал себе в утешение, что такой тертый калач нелегко попадает на любую удочку. А если бы и попадал, то это случилось бы, конечно, намного раньше, не позволив ему дожить до такого почтенного возраста. Он был бы довольно давно уже в далекой рыбьей Нирване, о которой мы не имеем ни сведений, ни представления.

Я все еще глубоко потрясен зрелищем, которое мне привелось увидеть подле того моста, где живет мой жерех. Это было ужасно, и я никак не могу избавиться от впечатления, которое оставили мне бесповоротно обреченные животные. Пронзительное предсмертное ржание одной из лошадей еще и теперь раздается в моих ушах. И самым ужасным, что мне довелось пережить за всю мою жизнь, было видеть и слышать все это, без всякой возможности помочь беде. Это происшествие застало меня неподготовленным и подействовало на мои нервы, как неожиданный удар по голове.

Я сидел у моста и готовил удилище и лёску. По дороге навстречу мне мчалась повозка, запряженная горячащимися конями, которыми правил пьяный, бестолково дергавший вожжи и дико орущий человек. По мосту проезжала как раз тяжелая грузовая машина; сворачивая на дорогу, водитель дал резкий, протяжный гудок.

Кони страшно перепугались и с разгону осели на задние ноги, как бы готовясь встать на дыбы. Водитель машины — суший болван! — сдуру еще раз загудел как раз в ту минуту, когда грузовик был перед самыми лошадьми.

Лошади рванули в сторону, возница полетел с повозки, а обезумевшие от страха кони понесли, волоча за собой повозку, которую бросало во все стороны, прямо в Олт.

Течение здесь, где оба рукава реки снова сливаются, очень глубокое. Берег круто спускается к реке, дно которой так же отвесно уходит в глубину.

Кони, морды которых от ужаса буквально перекосились, как человеческие лица, пытались проплыть между устоями моста. Повозка, еще не ставшая прямо по течению, зацепилась передним колесом за один из устоев моста, согнулась под напором воды в дышле и стояла теперь под прямым углом к течению. Лошади тщетно пытались оборвать упряжь. У них не хватало сил, чтобы, противостоя течению, вырвать

из воды ставшую поперек да к тому же еще и застрявшую под мостом повозку. Они отчаянно били копытами воду, пытаясь оборвать постромки и преодолеть тяжесть застрявшей под мостом повозки, которая должна была погубить их. Запряженный слева рыжий конь бесшумно потонул в бурливой воде. Правый же, гнедой, заржал — и так безумно, так истошно, что мне казалось, земля наша уже тысячами не слышала ничего подобного. По спинам присутствующих пробежала холодная дрожь. Затем погрузился в воду с громким бульканьем и гнедой, еще раз вынырнул на поверхность, а затем окончательно потонул.

Час спустя жители ближней деревни пришли помочь вытащить их на берег. Рыбаки подплыли к потонувшим лошадям на лодках, обрезали постромки, обвязали туши канатом и выволокли их волами из воды. Повозку выловить было нетрудно: она ничуть не пострадала. Один из подгнивших быков моста был сильно поврежден, так что его пришлось сменить в последующие дни. На эту работу требовалось несколько дней, тем более, что теперь речь шла о ремонте всего моста. Таким образом, это убежище стало, конечно, менее верным для жереха, и он переселился куда-то в другое место. Но куда именно?

Я снова шел по берегу реки и неотступно думал о моем жерехе. Чтобы вновь обрести покой, я должен был обязательно выловить эту рыбину, по меньшей мере, хоть разок подцепить на крючок, ощутить ее присутствие на конце моей лески, померяться с ней силами. Признаться, я на это не очень надеялся. Чтобы поймать жереха, надо было сначала знать, где его найти. А это было для меня пока что по-прежнему загадкой.

Я пробовал счастья то тут, то там, на этот раз с естественными приманками. Это были живцы-гобиусы, которых я наловил здесь в тихой заводи. Клев был хороший, и я мог бы довольствоваться уловом, если бы не познакомился с этим могучим жерехом. Но теперь мои три жереха, пойманные здесь и весившие два, два с половиной и три килограмма, не доставляли мне больше никакого удовольствия. Я выбросил их всех в воду, так как они почти не пострадали, будучи лишь слегка подцепленными на крючки. Бог с ними! Пусть будут впредь осторожнее и дорастут до такой же величины, как то чудище, которое скрывалось где-то здесь в этом отрезке реки. Затем я рано прервал свое

занятие и расположился на отдых в лучах осеннего солнца, любуясь нашими изумительно синими в это время года горами.

Передо мной, лишь чуть затененный, словно окутанный тончайшей бледно-голубой фатой, лежал большой горный массив. На самых высоких пиках его уже сверкал первый снег. Ниже заснеженных вершин в осенней позолоте простирались альпийские луга, густо зеленела богатая мантия хвойных лесов, буковые леса предгорий пламенели в пурпуре своей листвы. Через два месяца, когда я выйду охотиться на горных козлов, снег будет уже устилать вершины до самой опушки хвойных лесов, возможно, что и ниже. Но до тех пор я хотел вдоволь насладиться красочным богатством осени, шествовавшей по лесам в пестром одеянии арлекина. Да, я отправлюсь сперва к оленьей течке в секлерские края, в лесистые Карпаты, затем вернусь к моему усталому бурому Олту и, наконец, в начале месяца туманов, взберусь опять по кручам Фэгэрашских гор охотиться на горных козлов.

Как странно, что на свете так мало людей, одновременно увлекающихся рыбной ловлей и охотой! Одни — только рыболовы, другие — только охотники; и те и другие смеются друг над другом и совершенно забывают о том, что и охота и рыбная ловля имеют один и тот же источник — стремление наших праотцов добывать себе пропитание. Охота развивалась, однако, по круто восходящей линии, в то время как рыболовство упало до уровня праздной забавы. Только с возникновением спортивного рыболовства, привлекавшего все новых и новых сторонников, черпавшего из других источников свою суть, развитие и расцвет, оно достигло уровня вида спорта и стало прочным, жизнеспособным и здоровым побегом. И если еще кое-где на него и смотрят косо, через плечо, то это совершенно не обоснованно. Рыболов-спортсмен стоит сегодня на той же высоте, что и охотник; и если он и заимствовал многое из охотничьих обычаев, навыков и законов, то сегодня, благодаря своим прогрессивным взглядам, он может во многих отношениях стать примером. Ведь если сегодня охотник старается создать еще более дальнобойные ружья и припасы, еще более усовершенствованные оптические прицелы, то спортивный рыболов непрестанно стремится улучшать свои снасти, уменьшать размеры своих крючков, чтобы как можно

меньше ранить рыбу и иметь возможность вернуть ее снова родной стихии, если она не соответствует по размерам. И если у рыбы бывают дни и времена, когда она не желает клевать, и вы можете тщетно наживлять самую заманчивую приманку, пытаться поймать ее на лучшие подражания ее обычной пище, то охотник умеет добывать свою дичь с помощью собак и загонщиков, по белой тропе, на «засидках» и на тяге, и его дальнобойное ружье, снабженное оптическим прицелом, преодолевает расстояния и лишает дичь ее природных средств защиты, преимуществ острого зрения и тонкого чутья. Да, охотнику поистине есть чему поучиться у рыболова, а рыболову — у охотника!

День клонился к закату. Горы стали темно-голубыми, вечерний ветер срывал с прибрежных ив и бросал в реку первые пожелтевшие листья. Стало прохладно; я встал и неторопливо направил свои шаги к дому, по усталой земле.

Я просто не знал больше, что и предпринять. Несмотря на все мои поиски, мне не удалось обнаружить места, где скрывался мой крупный жерех. Ни один признак не свидетельствовал о том, где именно охотилась эта мощная рыба, ни один скользкий у поверхности воды голавль не указывал мне на то, что по следам его гонится крупный хищник, ни одна стайка вспугнутых уклеек не позволяла заключить, что между ними промчалась торпеда.

И я стал расспрашивать местных рыбаков о большой рыбе, которая до последнего времени укрывалась под мостом, умышленно умалчивая, о какой именно рыбе идет речь, так как не желал иметь соперников в моей охоте на жереха. И при этом считал себя большим ловкачом; но тотчас же убедился, что с моей стороны это было преглупо.

— Ах, это вы о том большом жерехе, что прижился до ремонта под мостом, у первого устоя? — отвечали мне рыбаки. — Его здесь знают все, кто ходит на рыбалку. Он как-то раз попался нам в сети чуть выше моста. Но когда мы вытряхнули его из невода в лодку, он изловчился и, прежде чем гребец успел оглушить его веслом, выпрыгнул, как на пружине, из лодки и ушел в воду.

Позже он попался на блесну молодому часовщику, — неужто вы его не знаете? Часовщик с улицы Турну Рошу? Мы тогда за животики держались со смеху! Попавшийся на крючок жерех с быстротой молнии бросился на стрелен, отпрыгнул, как мячик об стенку, поплыл вниз по те-

чению, дважды оплыл вокруг быка и запутал леску еще и в корягах, которые пригнало сюда последним половодьем. Часовщик, удилище которого изогнулось дугой, крепко вцепился в него, звал на помощь и тянул, тянул, как дурной, как бык в ярме, за надежно застрявшую удочку. Внезапно леска оборвалась и часовщик плюхнулся на зад; нейлоновый шнур порвался, и у рыбака осталось всего каких-нибудь шесть метров лески. А жерех еще раз метнулся, оборвал и остаток лески, зацепившейся за корягу, и ушел, унося с собой в глубину два-три метра шнура и блесну. Таким образом, рыба уволокла часть лески, средняя и самая длинная часть ее запуталась вокруг коряги и мостового быка, а последний отрезок болтался на удилище часовщика, который являл собой довольно плачевную картину. А мы хохотали до упаду, потому что именно так и представляли себе это зрелище.

На следующий год рыба попалась на удочку еще одному рыболову. К несчастью, нас там не было, чтоб посмеяться и над этим забавным случаем. Мы слышали только, что жерех поломал и удилище этого рыбака, а затем ушел так же, как и от часовщика.

С тех пор он научился уму-разуму и на удочку больше не попадался, сколько ни пытались приманить его всякими блеснами. В сети мы тоже не могли поймать его из-за нанесенных водой коряг и остатков бетонных устоев, которыми усеяно здесь дно. И он рос себе да рос в ширину и, конечно, в длину. Куда он теперь делся, этого мы не знаем. Наверное, нашел себе укромное местечко, где до него легко не доберешься! Хитрый он черт, ух, какой хитрый!

Рыбак бросил испытующий взгляд на мое надтреснутое удилище, которое вынесло уже не одно сражение с противником под стать и этому жереху и каждый раз выходило победителем. Посмотрел и на тонкую нейлоновую леску, бегущую сквозь кольца удочки к катушке, и насмешливо сказал:

— Думаю, что и вы сможете дать нам представление, не хуже того, что показал нам тот парень, часовщик. Неужели же вы думаете, что можно поймать его на такую тоненькую бечевочку? Что такой огромный жерех не оборвет вашу ниточку?

И он залился смехом, а товарищи его дружно вторили ему.

Я видел сегодня самую захватывающую сцену, которую привелось мне пережить за всю мою жизнь охотника и рыбака. Мне было теперь совершенно безразлично, что мой жерех, по всей вероятности, навсегда для меня потерян, что мне уже не посчастливится подцепить эту крупную рыбу на удочку, померяться с ней силами, применить весь мой опыт и умение в противовес ее хитростям и уловкам. Виденное мною произвело на меня столь глубокое впечатление, что я довольно легко отказался от этой крупной удачи, от мысли победить огромного жереха.

Я снова сидел на том месте, где впервые увидел его. Вода была прозрачная, прозрачнее, чем бывает обычно в нашем Олте, и все же я не мог различить в ней богатырской рыбы, которая находилась где-то посреди реки, на перекатах, в пронизанных солнечным светом струях.

Пора оленьей течки миновала. Я уложил неплохого оленя с двенадцатью отростками рогов и на некоторое время забыл моего жереха. Но не успел еще угаснуть мой охотничий азарт, как мысль о жерехе снова стала мучить меня.

Прислонившись к прибрежной иве, скрываемый справа и слева тенями деревьев, я сидел тихо и ломал себе голову, где бы мог находиться жерех, присутствие которого я угадывал где-то в этом отрезке реки.

К действительности вернул меня громкий шелест. Звук, нарастающий, как сирена, одновременно и шелест и свист, шел откуда-то с высоты, прямо над моей головой, и в первую минуту ошеломил меня. Руки невольно потянулись к охотничьей шапочке, спина согнулась, как под угрозой удара. Первой моей мыслью было, что с неба падает метеор, но в ту же минуту прямо передо мной, на самой середине реки, высоко взметнулись брызги; поняв, что опасность миновала, я снова стал способным судить о происходящем. Видел я только нечто беловато-бурое, неопределенной формы, с силой бросившееся в воду, подняв целый сноп брызг. В течение доли секунды тело, бьющееся в воде, исчезло, скрытое от моих взглядов снопом блестящих, как хрусталь, капель.

Минуту спустя я с удивлением узнал большого орлана-белохвоста, который схватил огромную рыбу и, тяжело хлеща крыльями по воде, пытался унести ее ввысь. Сильные взмахи крыльев громко шлепали по воде. Орлан дважды наполовину поднял рыбу над рекой, но оказался недоста-

точно сильным, чтобы подняться в воздух с этой тяжелой ношей. В ту же минуту я узнал в добыче орлана моего жереха.

Рыба была, очевидно, оглушена или испугана сильным ударом упавшего на нее орла и, в первую минуту, не оказала ему никакого сопротивления. Возможно, что страшные когти хищника так глубоко проникли в ее тело, что на миг парализовали ее. Поэтому вначале казалось, что орлану удастся вырвать свою добычу из чуждой ему стихии и унести ее в свою, родную. Но это только казалось так. Минуту спустя стало очевидным, что у орлана не хватит сил вырвать из воды такую тяжелую рыбу, вынести ударами крыльев такую ношу.

В следующее же мгновение жерех так сильно ударил хвостом, что опрокинул орлана, который одним крылом погрузился в воду.

Я было думал, что, убедившись в невозможности вырвать из реки такую тяжелую рыбу, орлан высвободит свои когти из тела жереха. Но, по-видимому, он либо не хотел, либо не мог этого сделать. Мне лично казалось, что это для него невозможно, что его когти проникли слишком глубоко и так впились в тело жереха, что, несмотря на все его усилия высвободить их, это ему не удавалось. Торопливые удары тяжелых крыльев и быстрые движения головы, вперед и назад, свидетельствовали о том, что все его старания довести этот поединок до удачного конца оставались тщетными.

Рыба, изо всех сил рвавшаяся в глубь реки, пыталась с помощью своих сильных плавников увлечь за собой орлана под воду. Она наносила ему хвостом такие яростные, сильные удары, что птицу бросало во все стороны на спине ее жертвы, как случайного наездника, оказавшегося верхом на необузданном мустанге. И эта встреча хищной птицы и рыбы являла драматическое, волнующее и прекрасное зрелище могучего поединка. Казалось, в исполинской схватке встретились сами стихии — вода и воздух.

Поединок не на жизнь, а на смерть длился лишь несколько мгновений. Судьба его была решена. В результате все более и более яростных попыток высвободиться, рыбе удалось добраться до более глубокой воды. Орлан разинул клюв и прерывисто дышал, крылья его лежали на поверхности воды, лишь изредка, усталыми взмахами ударяя враж-

дебную стихию. Затем рыба нырнула на дно, увлекая за собой птицу. Минуту спустя воды Олта по-прежнему однотонно журчали на месте поединка.

Орлан, несомненно, утонул. А жерех получил такие тяжелые ранения, что ему, конечно, уж не под силу будет носить еще долго на себе своего мертвого всадника. В конечном счете, и орлану и рыбе предстоит сгнить где-нибудь у подмытых рекой коренищ, под берегом, куда занесет их неторопливым течением Олта.

Здесь прерывались заметки моего друга, который погиб в Фэгэрашских горах во время охоты. Я прочел их очень внимательно, так как уже слышал рассказ о трагической гибели упряжки лошадей, переданный, может быть, не так правдоподобно, крестьянами и рыбаками, которые также были свидетелями драмы. От рыбаков же я узнал и о старом жерехе, но считал это всегда лишь их вымыслом. Теперь, лучше осведомленный, я был вынужден поверить в его существование и решил стать в этом отношении преемником моего друга.

Погибла ли эта могучая рыба в поединке с царем воздуха, свидетелем которого был мой друг? А вдруг она увлекла орлана под воду, утопила, а затем продолжала жить и мучаться дальше с этим ужасным наездником на спине? Со временем плоть и скелет птицы должны были истлеть и течение реки могло сорвать падаль со спины жереха. В данном случае, рыба снова стала свободной!

Да, возможность того, что она еще в живых, существовала, и я решил взять на себя выполнение завета, который, казалось, оставил мне мой друг, и пуститься на поиски жереха. Если он был еще в живых, то не мог не выдать мне со временем своего присутствия.

Я шел той же дорогой, по которой еще не так давно проходил мой друг. Она привела меня к рыбакам, и они рассказали мне, что поздним летом или в начале осени здесь был уже какой-то человек, интересовавшийся старым жерехом. Я пояснил им, что этот человек был моим другом, что он погиб в Фэгэрашских горах и что я теперь считаю своим долгом разыскивать, по его следам, этого большого жереха.

— Так, так, — сказали рыбаки. — Значит, рыболов этот умер? Что ж, вечная ему память! Он, по всей вероят-

ности, дал при жизни обет изловить этого жереха и принести в дар церкви?

— Нет, никаких обетов он не давал, — отвечал я. — Мой друг был просто заядлым охотником и рыболовом. Он погиб на охоте, а его погоня за жерехом не имела ничего общего с обетом. Ему хотелось просто померяться с ним силами, преодолеть силу этой рыбы с помощью своей хрупкой удочки и тонкой лёски.

— Вот этого мы уже никак в толк не возьмем, — удивились рыбаки. — Как можно совладать с подобной рыбиной с помощью такой тонкой удочки и такой веревочки? — и они украдкой переглянулись, очевидно, вспоминая часовщика и того, другого рыболова-спортсмена, не осмеливаясь, однако, громким смехом прервать нашу серьезную беседу.

— Нет, — сказали они наконец. Этого жереха они больше не видели. С тех пор как был закончен ремонт моста, жерех пропал и укрывался бог знает где. Летом в их сети не раз попадались жерехи. В это время года рыбы эти водились у перекатов или подле них, где река образовала обратное течение. Но среди них старого жереха не было. Осенью и зимой жерехи уходили в более глубокие места и охотно укрывались подле мостовых быков или на дне глубоких ям или омутов в излучинах реки. Рыбаки не могли добраться туда со своими сетями — из-за многочисленных затонувших там коряг и, так как мимо таких мест они быстро проплывали на своих лодках, то и не заметили нигде признаков присутствия крупного жереха.

Я захотел еще узнать, не случалось ли им находить на отмелях дохлой рыбы, погибшей по той или иной причине и прибитой к берегу волнами?

Как же, им такое привелось видеть раз, даже два. Первый раз они убили ночью, при свете факелов, острой крупного сома. Раненая рыба вырвала из рук рыбака острогу и исчезла, унося с собой железный наконечник и рукоятку. Неделью спустя рыбаки нашли сома в неглубокой воде, ниже по течению. Он уже наполовину разложился, и они обнаружили его по запаху. Острога еще торчала в теле рыбы, только деревянная рукоятка обломалась. Но это не имело значения, и Георге, которому она принадлежала, тотчас же выстрогал себе другую рукоятку для остроги.

Второй случай произошел уже довольно давно, трудно сказать, когда именно. Тогда еще был в живых некий Ион Петреску, который умер уже давно, так давно, что жена его успела вторично выйти замуж и уже имела восьмилетнего сына. Прошло уже, значит, с тех пор лет десять, а то и больше. Рыбаки нашли тогда как-то раз, поздним летом, в одной из излучин реки, среди нанесенного водой леса, большую хищную птицу, когти которой вцепились в крупного сазана. И птица и сазан, насквозь проколотый острыми, как кинжал, когтями, были дохлые. Несмотря на то, что эта падаля давно уже утратила свою мертвенную оцепенелость, когти эти даже и силой нельзя было высвободить из трупa рыбы. Они так сильно вцепились в нее, что Ион Петреску, который хотел прибить птицу, как пугало, на крыше своего сарая, был вынужден разрубить сазана на части, чтобы разнять рыбу и птицу. Да, тогда полсела смотрело на это чудо и не могло понять, как это коршун мог напасть на рыбу. Даже и поп сказал, что это чудо и, наверное, означает что-нибудь дурное, если уж птицы покидают небесные просторы, которые им отвел сам господь бог и набрасываются на рыб в воде. Это, по всей вероятности, предвещает голодный год, и поэтому прихожане должны бы ревностнее посещать церковь и приносить дары служителю господа бога.

— Ну и что же, наступил-таки или нет этот возвещенный вам свыше голодный год? — спросил я их, внутренне забавляясь при мысли, как хорошо сумел тамошний поп истолковать в свою пользу столь естественное происшествие.

— Нет! Мы дали попу, что ему полагалось, и он умилился господу богом своими молитвами. Но, пожалуйста, извините нас: мы должны чинить сети, да к тому же имеем и другие дела. Того большого жереха мы больше не видели. Бог его знает, куда он теперь забрался. Во всяком случае там, где он прежде был, мы его больше не видели.

Поздняя осень — лучшее время для ловли жерехов. Мелкие мирные рыбы, которыми питается этот крупный хищник, переселились в глубокие омуты и вымоины и не резвятся больше в пронизанной солнцем воде. Жерех, который охотится на поверхности воды, лишенный своей основной пищи — уклейки, уходит в глубокую воду, но предпочитает тихим заводям глубокие протоки. Не находя добычи

в достаточном количестве, он остается постоянно голодным. Поэтому в эту пору, пока река еще не стала, легче всего перехитрить его с помощью живой или искусственной наживы.

То, что произошло с моим покойным другом, произошло в точности и со мной. Я искал своего жереха на большом протяжении реки, вверх и вниз по течению, пускал в ход все свое мастерство, не щадил ни сил, ни хитростей, лишь бы одурачить эту рыбу, лишь бы, по крайней мере, хоть раз добиться от нее демонстративных действий. Я вылавливал то одного, то другого жереха, но среди них никогда не было того, самого большого из всех и никогда за моей блесной не гонялась ни одна действительно крупная рыба.

Издох ли он? Неясное предчувствие подсказывало мне, что он все еще водится где-то здесь, в этих водах. Более того: что он готовится к новым разбойничьим вылазкам. Но предчувствия нередко обманчивы и немало иллюзий никогда не становятся явью!

Существует ли он еще? Я об этом ничего не знал и постепенно стал привыкать к мысли, что мне придется отказаться от этой затеи. Где могла находиться эта большая рыба, если ни рыбаки, ни рыболовы-спортсмены ничего про нее не знали? Где? Ведь Олт все-таки не так уж глубок, чтобы скрывать навсегда свои тайны, а течение его не такое уж быстрое, чтобы проносить незаметно все мимо берегов. Если бы он, этот громадный жерех, был еще здесь, его существование должен был выдать тот или иной признак.

Олт катил свои воды все с тем же плеском, что и вчера, и позавчера, и тысячу лет назад. Но нигде нельзя было обнаружить ни следа присутствия жереха. Он был здесь когда-то, но пропал!

Леса пламенели в своей осенней расцветке, снег с каждой неделей все больше и больше заносил леса Фэгэрашских гор, первые ноябрьские бури уже бесновались в долине Олта, воды которого становились прозрачными и по-зимнему темными. Вскоре река стала у берегов. И я сунул удочку в чехол, отказавшись от охоты на своего жереха, и всю долгую, суровую зиму ждал наступления весны. Даже и сама надежда поймать когда-нибудь эту богатырскую рыбу как будто замерзла, окончательно обледенела.

Когда март близится к концу и по берегам реки, в тени ив, из-под земли пробивается чистяк, в долине Олта наступают первые теплые дни. Фэгэрашские горы еще ослепительно сверкают в своем снежном покрове, и ни одна темная прогалина не возвещает еще там, в горах, что владычеству зимы пришел конец. Воды Олта вздуваются, катятся, мутные, илистые, подмывая берега и унося целые глыбы земли, а перелетные утки с их пестрым оперением, отдыхая после долгого пути, качаются в тихих заводях, где вода спокойно плещется, растет и спадает.

В эту пору пробуждаются от зимней спячки и первые сомы. Полые воды размывают вокруг них песок, в котором они закопали еще с осени свои бесчешуйчатые гладкие тела, а потеплевшая вода согревает снова их холодную рыбью кровь.

Я снова сидел на берегу Олта, наживив на большой крючок крупную лошадиную пиявку, и ждал клева какого-нибудь проснувшегося от спячки сома. Было еще далеко до того дня, когда я смогу вооружиться и форелевой удочкой, и еще дольше до того, когда я смогу блесной и морышкой дурочить хищных рыб.

Кряквы уже раза два прокричали над моей головой или же шлепались в шелесте крыльев своими жесткими тельцами на воду, а завидев меня, снова взлетали, скользя по воде, как на салазках. В полях пели жаворонки, вертя головами, каркали охваченные любовным зудом вороны, свистел зеленый дятел, ворковали первые горлицы. Наступала весна!

Вот так-так! Любуясь извечным чудом обновления природы, я чуть было не прозевал первого клёва. Поспешно схватив удочку, я подсек и тут же почувствовал сопротивление рыбы средней величины, метавшейся вправо и влево глубоко в воде.

Отпускать леску здесь нельзя было. Сом лежал прямо на дне реки и легко смог бы зацепить мою леску за камни и затонувшие коряги. Поэтому я был вынужден держать его на короткой леске, противопоставляя его рывкам лишь упругую гибкость моего удилища.

В ту же минуту край моей сетчатки подметил неожиданное движение на середине реки. Из мутной, илистой воды взметнулась рыба длиной в руку и проскользнула в поспешном бегстве метра два на поверхности воды, чтобы затем исчезнуть снова в землистых волнах. Несколько мгновений

спустя вслед за ней вынырнул из воды большой треугольный спинной плавник, похожий на акулий; само тело преследователя скорее угадывалось, чем было по-настоящему видно. Жерех редкой величины преследовал свою добычу.

Неужели это был тот самый жерех, которого видел мой покойный друг? Нет, это было невероятно. Этот дьявол, а не рыба, увлекший за собой под воду орлана, погиб, по всей вероятности, от ран. Иначе я бы уж, наверно, как-нибудь встретил его прошлой осенью во время его охоты. Это был скорее двойник той большой рыбы, которую видел мой друг и которая, несомненно, давно уже переселилась в потусторонний рыбий мир.

Но и этот жерех был тоже изрядной рыбиной. То мимолетное мгновение, когда он сверкнул передо мной на поверхности мутной воды и снова исчез в ней, позволило мне все же огннить на глаз его величину. Такую рыбину мне уж не скоро удастся встретить в верховьях или в низовьях Олта!

Когда у тебя на удочке хорошая рыба, зевать не дело. Надо безраздельно уделить ей свое внимание, — иначе с вами будет то, что произошло со мной. Я долго всматривался в стремнину, где увидел этого необычайного жереха, а когда снова вернулся к попавшемуся мне на удочку сому, тот давным-давно успел до невозможного запутать мою леску. Мне пришлось обрвать ее, потеряв и рыбу. Да, но зато я видел большого хищника, и это открытие возмещало для меня потерю сома. Теперь я хотел во что бы то ни стало изловить эту великолепную рыбу.

Я приступил к делу, хорошенько взвесив все данные. В настоящую минуту, когда Олт катил свои мутные, грязные волны, добраться до этой рыбы было почти невозможно. Я мог бы по целым дням водить в воде лучшие приманки, — жерех все равно не увидел бы их. Следовало ждать, чтоб вода стала более прозрачной. На следующий день я прихватил с собой топор и так основательно расчистил все прибрежные кусты вокруг прежнего местонахождения жереха, что мог отовсюду забрасывать удочку до самой середины реки. Я проделал это на обоих берегах, после чего мне осталось только ждать, чтобы очистилась вода.

Черт знает, до чего овладел всем моим сознанием этот жерех! Когда в конце апреля окончательно установилась хорошая погода, я отправился на глухариный ток всего на три дня, боясь пропустить тот день, когда воды реки станут

прозрачными. Но сбегаящие с гор талые воды еще долгое время мутили воду, так что я, с одной стороны, испортил себе и удовольствие глухариного тока, а с другой — не мог еще начинать охоты на жереха.

Наступил месяц май, и я пропустил охоту на серых козлов, но утешался тем, что еще успею проследить самца косули на его любимых тропинках, и часто ходил на берег Олта, воды которого все еще оставались мутными.

В первой половине июня шли обильные дожди и, лишь после того, как последняя серая шерстинка выпала из линяющей шкуры козлов, погода наконец установилась. Снег окончательно стаял и на вершинах, горные потоки катили теперь в долину кристально чистые воды, да и Олт с каждым днем становился все прозрачнее и воды его все спадали.

Когда косы засвистели на лугах и пришел сентябрь с его изобилем, я наконец дождался момента, когда Олт стал совсем прозрачным. Один из моих знакомых крестьян вызвал меня по телефону и сообщил: «Теперь в самый раз выходить на Олт со спиннингом».

Я раздобыл у рыбаков разную рыбную наживу. Прочно привязал первого живца к крючку крепкой шелковинкой и начал забрасывать удочку чуть выше того места, где приметил в марте своего большого жереха.

На первом месте я ничего не видел, да и клева совсем не было. Зато на втором месте я уже при третьем забросе заметил, как за моей наживой плывет крупная рыба, очевидно не желающая все же клевать. Тогда я внезапно решил и прибегнул к старой, испытанной уловке, с помощью которой мне уже не раз удавалось одурачить многих осторожных рыб.

Как только я заметил рыбу, нерешительно следующую за приманкой, я быстро выдернул ее из воды под самым носом хищника, не позволив рыбе заметить, куда исчезла добыча. Повторение этой уловки дважды и трижды всегда обеспечивало мне успех. Я применил ее и на этот раз и вскоре увидел, как жерех, вскоре после исчезновения приманки, метался взад и вперед или же задерживался на месте, чуть трепеща плавниками — что выдавало его глубокое волнение — и подстерегая добычу, как сокол. На этот раз, готовясь далеко закинуть удочку, я знал, что наступил решающий момент.

Насаженный на крючок живец, отяжеленный лишь небольшим куском свинца, сверкнул в воздухе и с легким всплеском упал в воду намного дальше места, где находился жерех. Леска неторопливо сматывалась с катушки, верхний конец удилища поднимался и опускался, а приманка скользила по поверхности вперед, погружалась в воду, покачиваясь, как больная рыба, снова выплывала на поверхность, делала небольшой разворот, легко выпрыгивала из воды, опять погружалась и снова выныривала. Внезапно сильный рывок потряхнул мою удочку. Мгновение — я подсек и, почувствовав на конце удочки значительную тяжесть, понял, что клюнула исключительно могучая рыба, с которой придется побороться.

Этот поединок был прекраснейшим из всех пережитых мною. Лососи оставались для меня до сих пор недостижимыми, так как, к несчастью, в нашем Олте эта благородная рыба не водится. Но то, на что были способны крупные форели озера Кэлческу, в совершенстве проделывал и жерех. И все то, что были в состоянии сделать тяжелые сазаны с их стремительностью и безудержным «карповым скачком», еще лучше умел проделать мой жерех. Он то стремительно бросался вперед, мне навстречу, то снова порывался уйти прочь, на дно, кружил на месте, всплывал на поверхность, кувыркался, прыгал, бил хвостом, — и все эти строго рассчитанные, могучие движения свидетельствовали о таком высоком стиле борьбы, о таком мастерстве, какого я еще не видел. Неистовствуя и хитря, прибегая к силе и ко всевозможным уловкам, продуманно и все же с несказанной буйностью, эта рыба заставляла меня напрягать все свои силы, и моя славная удочка, подвергнутая здесь труднейшему из всех испытаний, оказалась, действительно, на высоте, как и шнур, который то и дело дергало вправо и влево, как и жужжащая катушка.

Позднее я не сумел бы, пожалуй, сказать, сколько времени длилась эта борьба. Несомненно — немало, но мне она не показалась долгой, потому что пришлось безраздельно сосредоточить всю меткость глаза, весь свой интерес, силу мысли, догадки и находчивости на этой рыбе, требовавшей от меня всего, что только можно требовать от испытанного рыболова.

Жерех наконец выбился из сил. Я неторопливо накрутил шнур на катушку и подвел устало лежавшую на боку рыбу

так близко, что мог взять ее рукой; но когда я вытащил тяжелое рыбье тело на берег, силы покинули и меня. Я вынужден был присесть, торопливо закурить сигарету и подкрепиться большим глотком из моей фляги.

Лишь теперь мог я как следует разглядеть этого могучего жереха. И вдруг глаза мои широко раскрылись от удивления: из спины рыбы, где давно уже зарубцевались раны, торчали два серых обрубка. Я склонился над своей добычей. Сомнения не было! Из спины рыбы, в которую так глубоко впились когти птицы, торчали полунистлевшие лапы орлана. Кольцо сомкнулось. Передо мной было неопровержимое доказательство происшедшего.

Это был огромный жерех моего друга. Передо мной лежало последнее подтверждение схватки орлана с рыбой, тот самый жерех из-под старого деревянного моста, очевидно сильно переболевший после нападения орлана, до тех пор пока мертвый наездник его не истлел, а раны на спине рыбы не зажили. И я и мой друг тщетно искали его прошлой осенью. Теперь, по прошествии зимы, когда он выздоровел и окреп, жерех стал снова прежним хищником, и мне удалось перехитрить и осилить его.

Я измерил его в длину и в ширину и подивился его необычайным размерам. Потом осторожно поднял его и омыл от речного ила — так, как в древние времена омывали перед погребением героев. Затем с гордостью взвалил его на спину и отнес в ближайший трактир. Когда я положил его здесь на весы, оказалось, что жерех и посмертно приготовил мне еще один приятный сюрприз: он весил не двенадцать килограммов, как предполагал, оценив его на глаз, мой друг, а все тринадцать с половиной.



Проездом по румынской низменности, далеко еще от Дуная и Карпат, дымчатая кайма которых в ясные осенние дни скорее угадывалась, чем виднелась на горизонте, испытывая сильную жажду, я зашел в небольшой деревенский трактир освежиться каким-нибудь прохладительным напитком. В трактире находился один только посетитель — старый, изнуренный тяжелым трудом румын с длинными, спадавшими ему до самых плеч седыми волосами с изумительно шелковистым блеском. Этот человек рассказал мне следующий случай из своей жизни :

В тот год, когда сам черт отправился верхом на могилу сельской колдуньи, а волки были при этом так, как воют только адские псы, гоняясь за душами усопших, выдалась исключительно суровая, морозная зима. Стужа была такая, что воробьи замерзали за ночь под стрехой, а хохлатые жаворонки и овсянки жались к порогам домов, и кошки поедали их, потому что от холода бедные птицы не могли больше летать. Прибавьте к этому глубокий снег, занесший все травинки, все посевы и всходы, совершенно изменив облик и очертания полей.

Солнце выкатывалось по утрам из-за горизонта, как огромный пылающий шар, но совсем не грело ; седые туман-

ны, саваном окутывавшие унылые поля, поглощали и свет его и невеликое зимнее тепло. Ветлы на берегу ручья занесло до половины, на ветках серебрился густой иней, а стволы их трещали и стонали от мороза так сильно, что казалось, это были живые существа, утратившие дар речи и умевшие только стонать и жаловаться.

Вьюга неистовствовала и гнала перед собой целые стены снежной пыли. День за днем градусник показывал —40° и больше. Колодцы замерзли, люди нуждались в воде. Коров, свиней, гусей и кур забирали в дом, чтоб не замерзли ни животные, ни птицы, ни сами хозяева.

В печах жгли кукурузные бодылья, солому и сухой кизяк, но огонь этот не имел силы. Как холодно было в комнатах, в которых ютились люди и звери! Жутко завывал ветер, наносивший сквозь дверные и оконные щели в дом снег. На расстоянии шага от печи у людей и животных замерзало дыхание.

Дрова можно было достать только далеко, в лесу. Лес весь принадлежал помещику, а дрова были зеленые и не хотели гореть. Не хотели? Ха-ха! Они бы, положим, и горели, лишь бы помещик согласился дать их!

«Купите же себе дров», — издевался он над людьми. Купить? А на что купить, когда в доме нет денег и последние копейки хватают лишь на то, чтобы купить кусок хлеба в лавке?

Да и если у кого-нибудь и нашлись бы еще деньги на дрова, как мог он доставить топливо к себе домой? Скот наш так истощал, что еле держался на ногах, а о том, чтобы тащить за собой сани по скрипучему снегу, не могло быть и речи. Добавьте к этому еще рыщущих повсюду волков, выскивающих случай задрать ту или иную скотину.

Да, это была самая тяжелая, самая ужасная зима из всех, которые мне привелось пережить.

Только в помещичьей усадьбе день и ночь топились печи. Когда ветер стихал, из трубы свечой поднимались к небу столбы густого дыма, а когда разыгрывалась вьюга, она швыряла клубы этого дыма на деревенские улицы, чтоб и крестьяне знали, как хорошо живется другим.

Мда, так было не трудно переносить трескучий мороз. Все дело было в деньгах! Деньги обеспечивали хорошую, сытную пищу, меховые шубы, уютное тепло в доме. Тепло это придавало сил, позволяло смеяться над волками и подтру-

нивать над бабкиными сказками, в которых говорилось о всякой нечисти, колдуньях и ведьмах. А голодная, мерзнувшая беднота тоскливо, одиноко ежилась в своих углах и боролась этой зимой с такой гнетущей нуждой, что с ума сойти можно было.

Я был в то время деревенским могильщиком. В эти холодные недели люди гибли так, как гибнут последние осенние цветы, когда первые ночные заморозки серебрят поля. Но хоронить мы никого не могли. Земля до того промерзла, что ни заступом, ни ломом нельзя было выломать из нее ни кома. И покойников складывали в небольшой кладбищенской часовне. Они лежали там все рядом, и среди них были и такие, у которых даже гроба не было.

На скот тоже напал мор. Лошади, быки, коровы и свиньи дохли от стужи, и тощие, как скелеты, клячи выволакивали их за околицу села.

Куда нам было девать всю эту пададь? На деревенскую свалку? До нее было слишком далеко. А все дороги были занесены, во всех ложбинах, на всех склонах лежали глубочайшие сугробы. Пробриться было невозможно. Наши упряжки были слишком слабыми, чтобы проделать эту дорогу и без поклажи, а еще того менее волоча за собой всю эту пададь. Скот вконец обессилен от голода и холода. От волов остались кожа да кости.

Единственная доступная дорога, которую мы все время расчищали и вынуждены были расчищать, вела на погост. Каждый день люди выходили сгребать с нее снег. Ведь что бы мы поделали с нашими мертвецами, если бы и этот доступ к месту последнего отдыха оказался отрезанным?

Той же дорогой приходилось выволакивать из деревни и павший скот. Мы подтягивали его к полузаметенной снегом кладбищенской стене да там и оставляли. Что больше можно было сделать с ослабевшим скотом, при зимнем бездорожье и нашем собственном бессилии?

Когда человек замерзает, он лишается сил и мужества. воли и надежды. Голодный человек только и думает, что о пропитании, и идет на такие дела, на которые может толкнуть только разве голод, но при этом проявляет много воли, энергии и смелости, подчас безумной. Тогда как у замерзающего нет больше ни силы воли, ни желания что-либо предпринимать, он утрачивает даже и инстинкт самосохранения!

Разумеется, к этой нашей свалке подобралась волки: они здесь нажирались до отвала, а нажравшись, лучше могли переносить мороз. Они собирались там и выли, сливая свои голоса в сатанинском хоре, зовя и других на свидание, туда, где трещали кости и ломались ребра. Волчий вой, жуткий хор этих исчадий ада, стук костей и трескучий мороз. Это была самая страшная из всех песен, которые я когда-либо слышал.

До мертвецов волки не могли добраться, они были в безопасности в своей часовенке. Волкам на съедение была оставлена лишь падаль, валявшаяся за невысокой кладбищенской стеной. Но волкам было мало клочков мяса, оставшихся еще на костях павшего скота; они жаждали горячей крови живых животных. Поэтому эти серые разбойники прокрадывались на деревенские дворы, раздирали на части цепных собак, увлакивали телят, перегрызали горло коровам и резали свиней, которых люди днем выпускали из хлева побродить на воле. Таким образом, ко всем нашим бедам и жестокой стуже прибавлялись еще и убытки. Это было и впрямь ужасно.

В деревне у нас жила одна старуха, которую все люди считали ведьмой.

Я-то сам знаю, что ни колдуний, ни ведьм на свете не существует. В деревне были, однако, и люди, любящие пересуды, и они еще до наступления морозов начали перешептываться. А когда где-нибудь люди начинают перешептываться и распускать слухи, тогда довольно искры, чтобы внезапно разжечь пламя ненависти, гнева, возмущения.

И вот однажды, в эту студеную пору, сельский священник в одной своей проповеди сказал, что во всех этих бедах виноват якобы сам народ, отвративший лицо свое от бога. И теперь, когда он попал под власть тьмы, ведьмы и колдуньи снова воскреснут из мертвых и навлекут на село еще невиданные беды.

Чего это вдруг пришло попу на ум нести такую околесицу? Не знал он, что ли, что народ давно уже перешептывается и ропщет? Не знал, что есть на селе женщина, которую все считают ведьмой?

Я — старый деревенский могильщик и не думаю, что поп, говоря это, имел в мыслях что-либо дурное или желал накликать на эту старуху беду. Но люди превратно истолковали его слова и тотчас же вспомнили про старуху, к ко-

торой многие из них ходили просить приворотного зелья. Старуха охотно наделяла их этим зельем, но в большинстве случаев оно не помогало. А влюбленные, жаждавшие взаимности и не находившие ее, обвиняли в своей неудаче только ведьму, более того: громко утверждали, что старуха дала им не те капли.

Нечего было удивляться поэтому, что слова священника оказались искрой, которая зажгла солому и принесла столько беды.

Я много думал о том, что сказал поп. Слова, вылетевшие из уст человека, мчатся с быстротой ветра и разлетаются во все стороны, как буря, сорвавшаяся с гор и привольно гуляющая на просторах полей. Слова — это указания, требования, приказы. Слова — это оружие и даже подчас очень опасное! Об этом не мешало бы подумать и ему.

Постараюсь быть кратким. В один прекрасный день сельская колдунья умерла. Она не замерзла, как многие до нее; ее задушили. Это было с несомненностью доказано следствием. Однако так и не удалось выяснить, хотел ли кто-нибудь выведать у старухи ее колдовские тайны, была ли это месть или надеялся убийца отогнать таким образом мороз.

Так или иначе, на следующий же день мороз спал!

Мне придется все же вернуться к началу и рассказать вам про ненасытных волков. Они страшно обнаглели и продельвали такое, что нам просто стало невтерпех. И это несмотря на то, что подле кладбища лежало столько падаль, оставленной им на съедение.

Как-то раз помещик вызвал меня в усадьбу, сунул в руки ружье, дал коробку патронов и сказал:

— Василе, вот тебе ружье. Волков надо перебить! Заберись-ка ты на ночь в засаду на чердак часовни; оттуда видно далеко вокруг. Даже если волки и не очень-то жрут падаль, они собираются все же на свалку, где у них теперь место встречи. Здесь удобнее всего перебить этих хищников.

— Барин... — начал было я.

— Уж не боишься ли ты лежащих в часовне покойников? — насмешливо спросил меня помещик. — Мертвецы мертвецами и будут и никогда никакого зла не причиняют живым людям.

— Нет, барин, мертвецов я не боюсь! Довольно я их уложил в гроб по сей день, и были среди них и бедные и богатые, и плохие и хорошие люди. Но бояться я ни одного из них не боялся, а похоронил в сырой земле как мог лучше. Да простит им господь бог их прегрешения! Нет, барин, бояться я не боюсь. Но ведь на дворе злая стужа, трескучий мороз! Неровен час, в первую же ночь замерзну. Нет, барин, это дело не по мне!

Помещик вошел тогда в дом и вынес мне оттуда тяжелую баранью шубу, одевавшую человека от подбородка и до пят, потом еще раз прошел в комнаты и на этот раз вернулся с меховым мешком, в который можно было залезть чуть ли не с головой. Я отлично знал, почему он так старается: за день или два до того волки задрали одного из его племенных жеребцов, и помещик боялся теперь за свой конный завод.

— Ну вот, Василе, — сказал он. — Боишься еще замерзнуть?

— Нет, барин! Думаю, что в такой шубе смогу просидеть на чердаке часовни часа три-четыре. Что ж, попытаюсь перестрелять волков. На военной службе я считался неплохим стрелком, но с тех пор прошло немало времени. Правда, и позже, когда на полях наших была разрешена охота, я стрелял волков и лисиц.

— Что ж, тогда все в порядке, — сказал помещик, сунул мне еще одну монету в руку, чтоб я мог купить себе в трактире водки, и посулил за каждого застреленного волка еще по одной. Но слова своего он не сдержал.

В те ночи, сидя в засаде под крышей часовни, я застрелил четырех волков, а одного ранил так тяжело, что остальные разорвали его на части примерно в ста шагах от свалки. На следующий день я нашел там только клочья шкуры, хвост и снег, окрашенный волчьей кровью. Но за этого волка помещик не захотел заплатить мне, хотя я и принес ему в доказательство волчий хвост.

— Волк это волк, — сказал он, — а шкура остается шкурой. Волчьи шкуры нужны мне на шубу. За то я и деньги плачу. А с одним хвостом волчьим что мне делать? Нет, Василе, мне нужны целые шкуры, а не какие-то там клочья и волчьи хвосты.

Но я отклонился от сути. Я, собственно говоря, хотел рассказать про самый жуткий случай из моей жизни. Про

чертова всадника, который вдруг вырос передо мной в полночь, когда я в последний раз подстерегал волков у могилы старой колдуньи и которого люди долгое время считали самым сатаной. Лишь месяцы спустя жандармам и суду удалось найти разгадку этого страшного происшествия в зимнюю ночь.

Нет, забегать вперед я не буду, а расскажу про все это по порядку, так, как оно произошло на самом деле. Разгадку же я дам только в конце рассказа, когда нам принесут еще бутылку вина. Эту разгадку месяцами искала вся деревня, но найти не могла. Таким образом, все люди были в то время под властью всяких поверий про чертей, ведьм и колдуний и чуть было не закидали попа камнями, когда он осмелился во всеуслышание усомниться в существовании чертова всадника, обозвал меня лгуном и обманщиком и упрекнул в том, что я хочу снова совратить людей во всяческие ереси.

Да, до этого дошла тогда борьба между священником и мною, и мне пришлось месяцами оставаться без работы, так как поп не допускал, чтобы такой еретик, как я, хоронил покойников.

Люди, однако, стояли не за своего пастыря, а поддерживали меня. И это потому, что я рассказал им то, что своими глазами видел зимней ночью, и разубудить в этом не мог меня и сам поп. Он мог сотни, тысячи раз провозглашать, что он — служитель церкви. Я даже и ему не разрешал обвинять себя во лжи. И даже если бы и тысяча попов клеймили меня в своих проповедях, я все равно оставался бы при своем! Но люди горячо возмутились поступком попа, когда он выбросил меня на улицу из кладбищенского домика после свыше двадцати лет честной работы могильщиком. Да, тогда в нашего попа полетели первые камни и народ, наверное, убил бы его, если бы я не заслонил его своим телом.

Я и сегодня еще точно помню слова, которые выкрикнул тогда нашему седому священнику: «Я с высоко поднятой головой ухожу из дома могильщика, в котором прожил свыше двадцати лет. И вернусь в него тоже с высоко поднятой головой, когда то, что я видел своими глазами в самую жуткую в моей жизни ночь, получит настоящее объяснение. Поэтому что я сказал чистую правду!»

Через несколько месяцев, когда история с чертовым всадником наконец разъяснилась, священник сам пришел ко мне в домик, в котором я поселился в деревне, поцеловал меня в обе щеки и со слезами на глазах просил у меня прощения. И мы оба плакали, когда он снова ввел меня в дом могильщика и восстановил в моей прежней должности.

Но я снова отклонился от основной нити моего рассказа, хотя, по правде сказать, все сказанное до сих пор к нему относится.

Старую колдунью задушили. Теперь эта ведьма лежала в часовенке, рядом с другими покойниками, и на следующий же день после ее смерти на дворе так внезапно потеплело, что люди невольно связали это со смертью старухи.

Выглядела она очень страшно. Из-за насильственной смерти лицо ее было все синее, а от холода казалось просто черным.

После того как потребованное следствием вскрытие было сделано и ведьма осталась лежать без гроба в часовне, все мои односельчане единодушно решили похоронить ее как можно скорее. Таким образом, первой могилой, которую вырыли после потепления, была могила старой сельской колдуньи.

Но если люди еще при жизни старухи перешептывались и считали ее ведьмой, то после ее смерти пошло еще больше толков и пересудов. Повсюду распространился слух, что за ней пришел сам черт, что задавил ее сам сатана. И слух этот разросся как снежный обвал, тем более, что убийца не был найден. Да и как его могли найти, если то был сам нечистый? — говорили в народе.

Как можно было доказать, что она была действительно ведьмой? На это сумел найти ответ один всезнайка. Он сказал: «Если среди наших односельчан найдется человек, который в ночь после похорон старухи, ровно в полночь, прискачет на вороном коне к ее могиле и перепрыгнет верхом через свеженасыпанный холмик, тогда будет доказано, что она не колдунья; но если конь откажется прыгнуть, — это будет лучшим доказательством того, что старуха была ведьмой и что ее забрал сам черт!»

Вот какую ерунду говорили люди. Хорошо еще, что во всем нашем селе не было вороного коня!

В ночь после похорон старухи я снова закутался в свою шубу, засел под крышу часовни и стал смотреть на место свалки. Луна взошла поздно и проливала сквозь облака на поля лишь неясный, призрачный свет. Погода смягчилась, и мне в моей шубе было тепло как никогда. Поздно ночью я заметил одинокого волка, который неторопливо приближался к свалке. Он, однако, на расстояние выстрела не подошел, а сел поодаль на снег и жалобно завыл. Тосковал ли он в одиночестве? Хотел ли призвать товарищей? Или выл просто так, из любви к своему жуткому завыванию? Или, может быть, ему что-нибудь не нравилось? Я этого не знал. Лежал себе с ружьем наготове и ждал его приближения.

Отчетливо помню, что, несмотря на охотничий азарт, я слышал все же, как башенные часы пробили в деревне полночь. Вскоре вслед затем я услышал скрип открывающихся кладбищенских ворот, а затем приближающийся топот конских копыт. Черт побери, подумал я, кто может скакать сюда в такой час?

Из чердачного окна часовни я мог различить в стороне могилу старой ведьмы. В серебристом свете проглядывавшей сквозь тучи луны я мог даже различить комья мерзлой земли, выброшенной из могилы. Казалось иногда, что они шевелятся.

Волк, который все еще сидел слишком далеко от меня, вдруг умолк и пустился наутек мимо могильного холма. Конский топот миновал часовню и теперь приближался к могиле ведьмы. И внезапно мороз пробежал у меня по коже. Я весь затрясся, чувствуя, как меня бросает то в жар, то в дрожь, как глаза мои горят в глазницах. Я и боялся смотреть в ту сторону и не мог не смотреть. Перед могилой ведьмы, весь дрожа, остановился как вкопанный огромный вороной конь; на спине у него сидел какой-то гном, карлик, какой-то шупленький всадник в черной маске!

Я видел, как он прищипорил коня, как тот поднялся на дыбы, раскачиваясь на задних ногах, как бешено бил воздух передними копытами. Белые струйки пара вырвались из его ноздрей и рассеялись в мгlistом свете, поднявшись к туманным тучам; потом снова вырвались, стремительно, как выстрелы, и обволокли призрачной пеленой коня и всадника. Пена большими клочками свисала с морды сатанинского коня, зубы его скрипели, кусая мундштук.

Это было ужасное, жуткое зрелище! Сам черт, казалось, примчался сюда на своем коне, и даже этот чертов конь не хотел прыгать через могилу ведьмы.

Кто бы это мог быть, если не черт? На моей памяти ни в селе, ни во всей округе не было ни вороного жеребца, ни хозяина такого коня; да и кто бы осмелился прискакать в полночь на погост?

Разве это не было лучшим доказательством того, что старуха была ведьмой? Этим всадником мог быть только сам сатана, но даже и его адский конь не мог перемахнуть через могилу!

В эти ужасные секунды, — а может быть, и минуты — безотчетного страха я совершенно забыл, что сидел здесь в засаде на волков, забыл, что мои дрожащие руки держали заряженное ружье с поднятым курком. Внезапно передо мной раздались два громких выстрела, которые я невольно, безотчетно выпустил своими судорожно сведенными пальцами.

Громкое эхо этих выстрелов, осколки стропил и черепицы, полетевшие с крыши часовни, перепугали меня до смерти. В первую минуту мне показалось, что сам черт разразился громом против меня, подсматривавшего за ним, что он хотел схватить меня и увлечь на своем сатанинском коне в преисподнюю.

Думаю, что я громко закричал. Вслед затем я почувствовал, что голова моя стукнулась о крышу часовни. Этот крик, удар по голове и внезапное сознание того, что стрелял я сам, вернули меня снова к действительности.

Я снова устремил на могильный холм глаза, горевшие от ужаса, как горячие угольки. В спокойном свете выплывшего из-за облаков месяца я увидел лишь привычную мне картину. Ни на могиле, ни вокруг никого не было. Только издали негромко доносился еще до моего слуха топот удалявшихся подков. Слух мой подтвердил вполне отчетливо, что виденное мною не было ни плодом моего воображения, ни началом безумия, а сущей правдой!

Как я добрался той ночью до дому, я и сам не знаю. В жизни своей я еще не испытывал страха ни перед кладбищем в полночь, ни перед смертью или чертовщиной. Но в ту ночь я здорово перепугался. Думаю, что именно тогда я и поседел.

Что было дальше, я вам уже сказал. На следующее утро, все еще во власти страха, рассказал об ужасах, пережитых мною ночью. Люди, не желавшие мне верить, отправились на кладбище и нашли на свежем могильном холме следы подков сатанинского коня. Все поверили мне, за исключением попа. Он во всеуслышание объявил, что я лгун и обманщик, а отпечатки подков оставил, якобы, сам с помощью подковы, сорванной с копыта одного из павших коней. Потом он выгнал меня из занимаемого мной по службе домика и лишил места могильщика.

Мне пришлось несколько месяцев ждать разгадки этого жуткого происшествия. Это были месяцы страха, сомнения в том, что я видел, месяцы заблуждения.

И вот наконец, когда я уже был близок к безумию, судебное следствие все выяснило и спасло мою репутацию. Жандармам не удалось обнаружить убийцу старухи, но зато они нашли сатанинского всадника, который был таким же человеком во плоти и крови, как и я. Это был четырнадцатилетний сын помещика, до ушей которого дошли глупые рассказы о том, как можно доказать, что старуха была ведьмой. Мальчик вывел среди ночи из конюшни вороного коня, приобретенного накануне его отцом, закусюмировался, надел маску и выехал в полночь на кладбище. Мальчишество, тщеславие и бахвальство толкнули «чертова всадника» на это ночное похождение. Но доказать, была или не была старуха ведьмой, он так и не смог, потому что конь просто испугался запаха волка, который донес до него ветер.

Мальчик был несовершеннолетним, поэтому его оправдали и, после строгого выговора, отпустили на все четыре стороны.

Мне же эта ночь навсегда запечатлелась в памяти. Еще и сегодня я невольно содрогаюсь от страха, вспоминая этот жуткий эпизод охоты на волков.



По случаю сельскохозяйственной выставки, открытой тремя смежными прикарпатскими областями, при которой был организован и небольшой охотничий павильон, проходя по этому павильону, я в удивлении остановился перед оленьими рогами, которые, хотя и были экспонированы на невыгодном месте — слишком высоко и в тени, тотчас же привлекали всякого внимательного посетителя. С первого же взгляда видно было, что они принадлежали в свое время выдающемуся экземпляру оленя.

В высшей степени недовольный, я решил переговорить с руководством выставки, чтобы добиться срочного исправления этой ошибки. Случай к этому представился мне неожиданно быстро. Подле меня остановились три человека с повязками на рукавах; запрокинув головы, они внимательно рассматривали этот замечательный охотничий трофей.

— Разрешите мне, господа, — обратился я к этим ответственным работникам выставки, — задать вам чрезвычайно наивный вопрос: почему вы отвели столь невыгодное место этим рогам с двадцатью отростками такой выдающейся, благородной формы, в то время как другие, старые, заурядные, некрасивые и плохо сформированные рога с четырнадцатью отростками буквально сунуты под нос зрите-

лям, чтобы всякий мог вдоволь любоваться ими? Чем это объясняется? Выставка открылась лишь сегодня; если вы не намерены предпринять более основательного переустройства экспозиции, перемените хотя бы между собой местами эти две пары оленьих рогов, чтобы дать посетителям представление о том, что преследуется выставкой: демонстрация благороднейших и красивейших рогов карпатских оленей.

— Если не ошибаюсь, я имею удовольствие беседовать с господином лесным инженером Брозером?

— Точно. Мое имя Брозер.

— А я доктор Шерер. Ну так вот, господин инженер, ваша филиппика, возможно, и вполне справедлива и обоснована, но, вы уж нас извините, — по лицу его скользнула тень улыбки, — на это и у нас бы хватило ума! Мы не случайно отвели этим рогам такое неблагоприятное место, а были к этому вынуждены. Охотник, застреливший оленя и экспонирующий теперь его замечательные рога, одолжил нам этот охотничий трофей с условием поместить его на таком месте, где он привлекал бы как можно меньше внимания. На наш удивленный вопрос, чем объясняется его желание, он нам не дал ответа. Мы все-таки попытались поместить экспонат на лучшем месте, но ваш коллега, человек, застреливший этого оленя, лесной инженер Альбрих, в самой энергичной форме воспротивился более выгодной экспозиции и лишь после долгих переговоров согласился на это место. После нашего, несколько оживленного спора, Альбрих очевидно решил, что, экспонированные так невыгодно, рога вообще не обратят на себя внимания, что в силу такой высоты и к тому же и плохого освещения их спицы покажутся тоньше, могучие передние отростки короче, вся крона будет затеряна и общее представление стухнет. Во всяком случае, этот Альбрих должен быть большим чудачком; вместо того, чтобы гордиться таким потрясающим оленем, он отказывает и другим в удовольствии видеть его рога. В нашем с ним разговоре мне даже показалось...

— Вам это не только показалось, оно так и есть, дорогой доктор Шерер. Я ни в коем случае не желаю, чтобы все ротозеи глазели на этого оленя, которому я сперва спас жизнь, чтобы года два спустя убить его. С этим оленем у меня счета личного порядка, и я желаю сохранить их исключительно для себя.

Мы с удивлением обернулись к человеку, произнесшему эти слова: перед нами стоял инженер Альбрих. На лице его видны были еще следы мимолетной краски, вызванной внезапным волнением. Морщины, бороздившие его лоб, еще свидетельствовали о некотором неудовольствии; но эти признаки раздражения быстро исчезли с его лица, и в уголках его губ заиграла приветливая улыбка, когда он, не обращая больше внимания на представителей выставки, подошел ко мне с распростертыми объятиями.

— Вы как будто не узнаете меня, господин лесной инженер? Постарайтесь припомнить, пожалуйста, ваше участие в лесостроительных работах в горах Харгиты. Я тогда — с тех пор прошло добрых двадцать лет — проработал у вас три недели. Помните, как тогда в капкан браконьеров попался медвежонок-пестун, и мы проработали целый день, чтобы освободить этого дурня?

Видя по моему выражению, что я вспомнил об этом случае, а также и о нашем знакомстве, Альбрих весело рассмеялся, и мы приветствовали друг друга, как старые друзья, пережившие совместно захватывающее и в некоторой степени ликантное похождение.

— Скажите, коллега, отчего история этого оленя окружена такой тайной? — начал я после первых приветствий. — Отчего вы не разрешили экспонировать на более выгодном месте, на высоте глаз посетителей этой охотничьей выставки и в лучшем освещении, эти оленьи рога, которые полностью заслуживают редкое звание «заветной мечты любого охотника»? Ведь донельзя обидно видеть, что такой замечательный охотничий трофей экспонирован в тени да к тому же еще под самым потолком. Повесьте же эти знаменитые рога ниже! Разрешите и нам разделить вашу гордость. Такой олень должен бы, собственно говоря, фигурировать как выдающийся экземпляр в коллекции рогов, а не висеть в задымленной комнате... извините меня за выражение — чудака, который лишает себе подобных возможности любоваться таким образцом красоты и силы.

— Прошу вас, дорогой коллега, не будем говорить об этом. История этого оленя — дело слишком серьезное, чтобы служить пищей для комментариев, пересудов или, может быть, даже насмешек посетителей. Пройдем вместе с вами в буфет на нижнем этаже, закусим парой булочек и запьем их кружкой пива. Думаю, что для вас гораздо интереснее

будет освежить в памяти случай с пестуном, вызволенным из капкана, чем слушать рассказ об этом олене; а рога пусть остаются там, где они висят. Мне и так нелегко было решиться экспонировать их, и должен честно признаться, что сделал это лишь в результате настойчивого требования моего начальства. Иначе я бы и далее продолжал держать эти рога, которые неизменно напоминают мне о совершенной мною крупной ошибке, — замечу кстати, ошибке, лишившей меня величайшей радости моей жизни, — да я бы и далее держал их скрытыми от чужих взглядов в своей комнате и не подвергался бы тому, чтобы все посетители приставали ко мне, умоляя рассказать им под строжайшим секретом, где я убил этого оленя, или еще, пожалуй, не могу ли я научить их, где и как можно застрелить такого же могучего оленя. Чтоб их всех черт побрал! Мне просто осточертели все эти попытки втереться в мое доверие со стороны касты охотников, которые видят в дичи исключительно мишень для своих дальнобойных ружей и хотели бы стрелять красного лесного зверя лишь для того, чтобы было чем хвастаться перед себе подобными тем, что отнюдь не является их заслугой. И все же... да ну, бросим мы этого оленя! Пойдем, — и он взял меня под руку, — пойдем выкурим по папироске, поговорим о нашем медвежонке и про прошедшие с тех пор годы.

Работники выставки, которые надеялись было, что мне удастся перенести этот замечательный экспонат на более соответствующее место, в разочаровании отошли в сторону. Альбрих вывел меня из зала, и мы прошли в буфет, чтобы одновременно освежиться и освежить свои воспоминания.

— Да, дорогой мой Альбрих, мы тогда славно поработали. Одного не могу понять, как мог я забыть вас за эти годы. Положим, я уже человек не первой молодости, и память удивительно быстро слабеет. Но теперь постараемся наверстать потерянное. Я сегодня свободен и предлагаю вам провести со мной этот дождливый ноябрьский день. Что вы скажете насчет бутылки доброго вина? Ну, вот и отлично; вижу, что вы ничего против не имеете! С одним только условием: вы расскажете мне историю вашего замечательного оленя.

— Дорогой коллега, я готов выполнить любое ваше условие за исключением этого!

— И знать ничего не хочу, коллега! Вот смотрите, официант уже несет вино, так что решайтесь. Если это для вас, действительно, такой наболевший вопрос, лучше всего раз навсегда отвести душу. Увильнуть вам сегодня ни в коем случае не удастся. Вы должны выговориться. Самое трудное первые три фразы; потом с вами будет, как с лягавой, которая после долгих поисков напала на верный след. Горло ваше прочистится и вы преодолеете все душевные преграды. Вам нужен воздух. Воздух и облегчение от огромного бремени, которое лежит у вас на сердце и которое исчезнет после рассказа, как майский снег при дуновении фёна. Итак, за ваше здоровье и с богом!

— Видите ли, дорогой Брозер, у меня к этому делу совсем не лежит душа. Мне хотелось в дружеской беседе преодолеть годы нашей с вами разлуки, поговорить и об охоте, но не об этом олене, которого я оберегал в течение нескольких лет, чтоб затем пристрелить в минуту гнева, не узнав его, пристрелить, как бешеную собаку. Но, пожалуй, вы правы. Должен же когда-нибудь открыться и мой охотничий промах, должен и я покаяться в том, что тяжелым бременем лежит на моем охотничьем сознании, независимо от того, заслужу я этим или нет прощение. Ибо добиться его — в этом я твердо уверен — я могу только от самого себя, и только тогда, когда время смягчит сознание непоправимого, когда потомки этого оленя вступят в зрелые годы своей жизни и будут носить такие же прекрасные или же еще более прекрасные рога, чем носил этот лесной богатырь. Когда мне удастся преодолеть сожаление о том, что я, избавивший сперва это животное от жестоких мук, сразил его затем в полном расцвете сил, в минуту гнева. Да, я казнил его, как казнят людей, преступивших законы человеческого общества и ставших угрозой для жизни других. В этом сравнении неправильно одно: этот олень вовсе не был таким преступником; он просто поступал так, как ему и полагалось поступать. Он никогда не переступал законов своего мира, а действовал так, как ему подсказывал инстинкт, как того требовала от него природа.

Альбрех махнул рукой.

— Да что там и говорить! Здесь уж не поможет никакой разговор, не касающийся сути дела. Пожалуй, и в самом деле; лучше рассказать вам, как старому охотнику и другу, если вы разрешите мне так назвать вас, всю эту исто-

рию с начала до конца. Попробую разъяснить вам некоторые обстоятельства строго личного характера, которые вряд ли поняли бы все члены нашей охотничьей гильдии. В конце-то концов, не все же охотники обладают такой чувствительностью, какой, к несчастью, наделен я. И конечно, гораздо лучше быть охотником и только, чем и лесничим и охотником, то есть человеком, которому приходится иметь дело с самыми различными соображениями и которого терзают угрызения совести.

Итак, начнем. Прошло уже немало лет с тех пор, как я остановился как-то в октябре месяце на одном лесном участке, который посещал охотно благодаря его уединенности. На этот раз целью моего пребывания там была не охота, а оценка крупной лесоразработки, которую должен был использовать один лесопильный завод. Предыдущие оценки количества этой древесины между собой значительно расходились. Я промерил площадь разработки, размеры которой сильно варьировали в силу того, что она образовала большие выступы и изгибы, и съемки приходилось делать среди деревьев и зарослей. Мне оставалось еще обмерить пробные участки, для чего надо было исходить всю делянку, заставляя рубить то тут, то там пробные деревья. Лично выбирая соответствующие площади и стволы, я исходил вдоль и поперек со своими товарищами по работе все это спелое насаждение, установил размеры бурелома и в одном из завалов внезапно набрел на двух сцепившихся оленей.

Брачная пора закончилась несколько дней назад, так что олени пролежали здесь, по всей вероятности, дня четыре, а то и все шесть. Земля вокруг их упавших тел была вся изрыта копытами, взрыхлена, истоптана, трава примята, валежник и опавшая листва далеко разбросаны отчаянно бьющими ногами. Зрелище было по истине жуткое. Один из оленей лежал на правом боку, другой наполовину на левом, наполовину на спине, так что все четыре ноги его, не находя поддержки, беспомощно мотались, как сломанные ветки на ветру. Языки у обоих вывесились, а глаза так сильно закатились под лоб, что видны были только налитые кровью белки.

Установить, что именно привело к этой драме, было трудно. В борьбе за самку олени с исполинской силой столкнулись и накрепко переплелись рогами. Затем один из

них, тот, у которого рога имели четырнадцать отростков и который уже миновал период расцвета сил, очевидно, упал на колени и был перевернут на спину сильным поворотом головы противника, оленя с шестнадцатью отростками рогов. Этим поворотом, который, само собой разумеется, сообщился главным образом рогам, их спицы и отростки окончательно запутались. И первый олень, копыта которого беспомощно били по воздуху, не смог уже больше встать на ноги. Второй же так безнадежно застрял рогами в рогах противника, что, тщетно пытаясь высвободиться, также упал на землю, причем рога их бесповоротно переплелись. Олени, которых только пора гона превратила в противников, лежали теперь, заживо прикованные один к другому, и никакая сила в мире не могла разнять их, не лишив рогов или не переломав им шеи. Мы подошли к ним, но олени не подали ни малейшего признака испуга. Вконец измотанные тысячами тщетных попыток освободиться, они уже больше не в силах были сделать при виде нас новое усилие. Старый олень с четырнадцатью отростками, опрокинутый на спину, лишь прерывисто дышал и можно было ожидать с минуты на минуту, что сердце его перестанет биться. Я помахал кулаком перед его глазами, но рефлекса не последовало. Олень был уже в агонии, и спасти его было невозможно. Второй олень, помоложе, с шестнадцатиконцовыми рогами подал при том же испытании признаки испуга. Это означало, что в нем еще сохранились какие-то силы, которые могли бы, пожалуй, после освобождения вернуть его к жизни. И я решил попытаться спасти его.

Надо было, в первую очередь, не требуя от него новой затраты энергии, освободить его от тяжести противника, возвратить ему свободу движения. Но я хотел сперва пробудить в нем последние силы.

Олени, по всей вероятности, лежа здесь, страшно томились жаждой. Ревущий олень может в течение десяти или четырнадцати дней обойтись без корма, но не без воды. Поэтому я попросил двоих из сопровождавших меня людей принести воды, а затем разработал план спасения.

Поначалу, для того, чтобы освободить молодого оленя, я намеревался отпилить рога старому, но тотчас же отказался от этого плана. Мы еще не знали, насколько ослабел молодой олень. Теперь, когда вес старика удерживал его на месте, он не мог предпринять никакого усилия; но то ли

будет, и когда мы его освободим? Ведь существовала еще возможность, что, поднявшись на ноги, он поспешит уйти от нас, унося с собой переплетенные с его рогами рога старого оленя? В таком случае, все мои усилия спасти его были бы напрасными; с двумя парами рогов на голове оленю предстояло неизбежно застрять где-нибудь в чаще или стать, из-за их двойной тяжести, верной добычей волков. Существовала, конечно, и возможность, что отпиленные от головы старого оленя рога сами отпадут, освободив молодого. Но это был шанс, такой же, как и другой, — что прочно сплетенные ветви рогов так и останутся сцепленными. Надеяться, что нам удастся распутать отрезанные рога старого оленя до ухода молодого, я и не думал. Олень имеет в себе триста килограммов живого веса, и это животное исключительно сильное. Одним ударом своих рогов он может убить наповал нападающего на него волка и даже человека. Конечно, этот олень сильно ослабел, был, по всей вероятности, близок к концу своих сил; было все же благо-разумнее недопустить возможность борьбы с ним. Оставалось одно: отпилить рога молодого оленя, что действительно освобождало его и позволяло ему идти на все четыре стороны.

Люди, посланные мною, вернулись между тем с полным ведром воды. Мы в последний раз проверили, реагирует ли старый олень на действие животворящей влаги, обмакнув его язык в воду, — он даже и не шевельнул им. Тогда мы вылили ему на голову и на морду целое ведро воды, но олень уже больше никак не реагировал на это, и всякая попытка спасти его была напрасна. Молодой же олень стал пить. Тяжело, шумно плеская языком, с трудом глотая, пробовал он втянуть воду в пересохшую глотку, в изнывающее от усталости тело. Медленно, бесконечно медленно осушил он целое ведро. По всему телу его, от ушей и до самых копыт, пробежала дрожь. Ждать больше нельзя было. Четверо сильных мужчин набросились на оленя и крепко схватили его. Леснику, который держал голову оленя, я крикнул надрезать ему уши ножом, с тем чтобы мы, встретив его позже, могли при случае узнать спасенного нами оленя. Понял ли лесник ошибочно мои слова, хотел ли он сделать эту пометку еще более явной, — так или иначе, он просто отхватил оленю ножом оба уха, так что на голове его остались только два отверстия. Я спохватился слишком поздно.

Да и что можно было еще сделать? Если я хотел еще спасти оленя, нечего было тратить время на бесполезные упреки. Я пристрелил старого оленя из моего большого пистолета, затем мы приложили пилу к рогам молодого и менее чем за две минуты рога его были отпилены коротко, над самыми розетками. Мы быстро отпрянули назад. Олень был свободен!

Несколько минут он лежал спокойно. Только движение его глаз и ускоренное, прерывистое дыхание свидетельствовали о том, что в нем пробуждаются последние силы. Мы вылили на него еще два ведра воды. В результате этой кнейповской процедуры олень повернулся на брюхо, уперся передними копытами в землю, получил от меня еще шлепок по крупу, встал и на задние ноги и остановился, весь дрожа, на широко расставленных ногах.

Мы отошли в сторону, чтоб открыть ему дорогу к воде, в долину. Олень все еще стоял на прежнем месте; повернул к нам с отсутствующим, усталым видом голову, посмотрел, не проявляя видимых признаков испуга, потом отвернулся и осторожно, как бы умышленно замедленными темпами сделал шаг, второй вперед. Затем снова остановился, низко опустил голову; казалось, он вот-вот зашатается и упадет.

Мы застыли на месте, стараясь не дышать. Затем одному из нас пришлось на ум дать оленю воду, оставшуюся в ведре. Тихонько, осторожно приблизился он к оленю, который все еще держался на ногах, напрягая, очевидно, последние силы. Лесник подошел шага на три-четыре к оленю. Животное, повернувшее к нему голову, казалось, поняло вдруг опасность, инстинктивно рванулось вперед, упало на колени, снова поднялось и, пошатываясь, медленно пошло под гору, к лесу.

Я велел своим людям остаться на месте и осторожно пошел вслед за оленем. Он с трудом, низко опустив голову, сошел под гору до самого ручья, где вошел в воду, в том месте, где она была поглубже. Вода серебрилась, струясь по его серой шерстке. Он нагнул морду к ее поверхности и стал долгими, жадными глотками пить животворящую влагу.

Я ему больше помочь ничем не мог. Здоровый организм животного должен был сам завершить выздоровление.

Ранней зимой того же года — если не ошибаюсь, в первые декабрьские дни, — мы отправились поохотиться на кабанов на той же лесной делянке. На этой охоте после второй же облавы ко мне подошел охотник и, запыхавшись, рассказал следующее :

— Представьте себе, дорогой инженер, перед самым концом облавы я вдруг заметил перед собой движение и увидел оленя, который осторожно, как лисица, уходил от загонщиков сквозь заросли. Самое интересное, что он — безрогий. На голове у него виднелись только две крепкие розетки и — вы мне, пожалуй, не поверите, когда я вам это скажу, — у него не было и ушей! Мне страшно хотелось пристрелить этого калеку, но я воздержался, так как с самого начала охоты было крепко-накрепко велено бить исключительно кабанов, волков и рысей. Теперь, думая об этом случае, я горько упрекаю самого себя, как дурака, за то, что не уложил такого уroda!

— Не терзайтесь угрызениями, дорогой Бекер, — ответил я несколько удивленному стрелку. — Вы поступили вполне правильно, так внимательно рассмотрев этого оленя, и еще правильнее, не застрелив его. Этого оленя изувечил в прошлом году я сам, но в извинение этой моей операции коновала, скажу вам, что этим я спас ему жизнь. Я страшно рад, что он еще выжил и снова в добром здравии бродит по лесам. Да и кроме того, — добавил я, обращаясь ко всем остальным охотникам, — нам ведь велено стрелять исключительно кабанов, волков и рысей.

Весной следующего года лесникам было отдано распоряжение беречь безухого оленя. Всех нас живо интересовало, как будут выглядеть его новые рога и не повредила ли ему наша операция. По всей вероятности, нет, потому что подобного рода опыты уже были проделаны на пойманных оленях и оставались без последствий, так как олени эти снова оказывались в следующем году носителями новых и здоровых рогов. Это, однако, не уменьшало нашего любопытства...

Лесники самым добросовестным образом искали след безухого оленя, но найти его так и не могли. Возможно, что волкам удалось все же загрызть его зимой, а может быть, он просто ушел оттуда или еще — что было, конечно, сла-

бым утешением : он был таким пугливым, что никогда не показывался на открытом месте при дневном свете.

Олени обчесали кожный покров рогов о деревья, но безухого никто не видел. Пора жирования пришла и прошла, его же никто нигде не заметил.

Когда наступил, а затем и прошел период рева, а моего оленя мы все еще не нашли, я перестал надеяться, что еще увижу его. По всей вероятности, он все-таки настолько ослабел, что стал добычей волков в конце зимы.

И снова прошел целый год, снова все охотники собрались во всеоружии к началу оленьего гона. Лесники известили о том, что первые олени уже режут. И как раз, когда я собирался на охоту, ко мне внезапно ворвался лесник Г. : «Господин инженер, у Медвежьего ручья ревет и разбойничает безухий !»

Эта весть буквально ошарашила меня. Спасенный мною олень жив ! По словам Г., при нем были две самки и он с ними снова — или, вернее, все еще — находился на том же участке леса. Более того : он был теперь на расстоянии ружейного выстрела от места, где мы впервые нашли его. Это было поистине доброй вестью, как бы счастливым предзнаменованием наших будущих успехов ! И мы вышли на следующий день, и, полные как никогда надежд, проникли под сень карпатского бора.

Наше предчувствие сбылось. Первые мои засады предназначались безухому. Не то, чтобы я хотел застрелить его. Нет ! Ружье, висевшее у меня за плечами, было лишь спутником, оправдывающим мои скитания по лесу, восхождения, пытливые вслушивание в лесные шорохи, выжидание. Оно было заряжено так, на всякий случай, но пули для безухого оленя в нем не было.

И я нашел и увидел его. Он гордо носил на голове рога с восемнадцатью отростками и, безусловно, был лучшим экземпляром оленя во всей этой части леса. И все же он не достиг еще полной зрелости, окончательного расцвета, предела своих размеров ! Рога его, несомненно, должны были стать еще красивее. Для этого надо было только позволить ему еще расти и дальше. И самое замечательное во всем этом было, что мне даже и не пришлось на ум уложить выстрелом это гордое животное, чтобы добыть его рога. Мною владела одна-единственная мысль, она росла и ширилась,

как ручеек, разраставшийся после грозы до бурного потока : этот олень должен жить и приносить потомство, он должен стать родоначальником нового и могучего рода оленей. Каждая брачная пора, пережитая этим оленем, даровала нам здоровое, жизнеспособное потомство. И в этом остро ощущалась нужда. Наши предшественники на этом участке стреляли все время лучших оленей, попадавших им на пути, и утешались мыслью, что где-то, в чащах леса, живут, по всей вероятности, еще более могучие экземпляры.

В силу этой теории, этого самообмана, длившегося годами и десятилетиями, оленье стадо никак не могло улучшиться, напротив, только вырождалось. Вполне естественно, выживали при этом наименее удачные олени, и они производили на свет потомство, лишенное возможности вырасти крупными, сильными животными. Промachi наших предшественников следовало теперь исправить, начав с начала то, что, фактически, следовало бы продолжать. Но мы это делали охотно и заранее радовались будущим положительным результатам. Пока на участке существовали еще такие олени, как наш безухий, дело с дичью и охотой обстояло еще хорошо.

Когда я увидел своего безухого, от удивления у меня буквально перехватило дух. Высокий, с широко раскинутыми рогами, могучими спицами и ослепительно белыми концами отростков прекрасной формы, образующих могучую крону в виде чаши, этот олень являл поистине незабываемое зрелище.

С минуту в уме моем мелькнула некрасивая мысль : а что если этот олень выйдет за пределы нашего участка ? Что если его подстрелит какой-нибудь сосед ? Если рога его украсят чью-нибудь коллекцию или попадут в руки браконьера ? Что станет тогда со всеми планами на будущее, с нашими проектами возрождения, с намерением сделать из этого оленя родоначальника нового оленьего племени ?

Могу с полной искренностью заверить вас, дорогой друг, что эта низкая мысль, в основе которой, несомненно, лежал самый гнусный эгоизм, не смогла овладеть мною. Олень не должен был пасть от моей руки — от руки человека, даровавшего ему жизнь. По меньшей мере, до тех пор, пока он еще находился в расцвете сил, пока мог ежегодно покрывать трех, четырех, пять или больше самок и облагораживать оленье потомство этого участка леса.

Наши добрые предчувствия сбылись. Я застрелил оленя с восемью отростками, давно уже подлежавшего истреблению, а один из моих товарищей — носителя двенадцати отростков, с близко расставленными, прямыми рогами, непригодного для выведения молодняка. Величайшее удовольствие, однако, доставила мне встреча с безухим.

Я должен упомянуть еще об одном. Смотря на оленей, я никогда не обращал внимания на их уши. Лишь теперь, когда у этого животного их не хватало, я смог отдать себе отчет в том, какой неотъемлемой частью обычного облика оленя являются они и как незабываемо зрелище оленя, у которого нет ушей. Этого самца я мог отличить тотчас же, на расстоянии нескольких сотен метров, даже и среди большого стада. Так сильно изменяло отсутствие ушей форму его головы. И это было хорошо!

В ходе брачной поры мне сообщили, что у Медвежьего ручья и на Широкой горе, примыкающей к его долине, были найдены два убитых оленя. Оба были экземплярами обещающих оленей, которые, по всей вероятности, лишь во второй раз переживали пору гона, и приняли бой с сильным оленем, хозяином здешних мест, или же были вынуждены защищать своих самок от ищущего самца. Странное дело: при беглом обследовании этих оленей, мы не смогли установить, что они были пронзены рогами противника. Следы тяжелых ударов рогами, царапины, ушибы и травма — вот все, что мы обнаружили. При вскрытии оказалось все же, что у одного из оленей переломан шейной позвонок, а у другого спинной хребет. Убийца оставался неизвестным.

Зимой безухого, как звали его лесники, видели всего лишь раз. В феврале был найден сброшенный рог, несомненно принадлежавший ему. Дальнейшие следы обнаружить было нельзя.

Два года назад, незадолго до начала оленьего рева, я заболел. Тяжелая форма воспаления легкого, а затем и плеврит заставили меня слечь и продержали в постели вплоть до отлета вальдшнепов в конце октября и до первых ноябрьских бурь, начавших обычную генеральную уборку в сухостое.

Во время болезни меня навещали лесники. Они принесли мне весть, на первый взгляд радостную: безухий стал в этом году носителем двадцатиотростковых рогов и вначале

держался снова у Медвежьего ручья, но в середине гона опять пропал. Лесники предполагали, что он пустился на поиски новых самок, и вышел за пределы нашего участка. Назад он не вернулся даже и по окончании рева, и нельзя было установить, жив ли он еще или нет. Третий от нас сосед уложил из ружья в конце течки оленя выдающихся размеров, а по ту сторону долины тоже был застрелен матерый олень. Лесники не знали, правда, какие рога были у этих двух больших оленей, как не знали и того, был ли среди них безухий.

В качестве неприятных новостей они передали следующее: браконьеры застрелили хорошего оленя с двенадцатиполосковыми рогами, а трех молодых оленей нашли убитыми, однако без видимых проколов рогами.

При мысли об убийце лучших, многообещающих оленей меня в моей постели охватила бессильная злоба. Мы тут щадили, берегли и лелеяли нашу красную лесную дичь, а какой-то неизвестный олень убивал носителей рогов, которых мы в результате долгого и тщательного отбора предназначали для жизни, для дальнейшего развития и обеспечения потомства. Что проку было во всех моих заботах и намерениях увеличить поголовье оленьего стада, если на нашем участке свирепствовал какой-то неизвестный олень, убийца, опрокидывающий все наши благие намерения? Но брачная пора уже миновала, найти вредителя не было никакой возможности, да и к тому же доктор сказал, что мне придется еще просидеть дома по меньшей мере три недели и лишь потом, с большими предосторожностями, предпринять первый выход. Итак, я вынужден был пребывать в бездействии и ждать.

Как только я смог снова бродить по комнате, я тотчас же бросился к телефону и вызвал охотников, застреливших тех двух больших оленей, о которых уже была речь. И облегченно вздохнул, узнав, что и у одного и у другого были не только отличные рога, но и уши. Это оправдало мою надежду на то, что мой безухий еще жив.

Я уже близок к концу моего длинного повествования. дорогой друг. Постараюсь быть кратким, ибо заключительная глава этого эпизода больше всего действует мне на нервы, вызывая всякий раз яростную борьбу между угрызениями совести и попытками самоуспокоения, причем угры-

зения всегда одерживают верх. Я просто не вижу выхода из этого тягостного душевного поединка и, сколько бы ни вставал, со всей энергией, на свою собственную защиту, меня всё время преследует суровый укор, самый суровый, который можно сделать охотнику: надо сперва как следует разглядеть дичь и только потом стрелять!

Это было в прошлом году во время оленьего рева. Первые мои выходы были предназначены безухому. Он снова пасся все на той же делянке у Медвежьего ручья, и рога его стали еще прекраснее. Прошлогодний урожай буковых орешков способствовал предельному развитию его рогов. Дальше расти они уже не могли. Ровно двадцать отростков благороднейшей формы, с сильными спицами, изумительно красивой кроной и сверкающими белыми концами, таковы были рога моего безухого. Когда на третий день охоты я в течение минуты смог поймать его в окуляр своего бинокля, увидеть его красоту и силу, вдосталь налюбоваться ими, я снова повторил свою клятву: этот олень должен жить! Даже если он и начнет сдавать! Его исключительная способность носить такие рога должна была еще и тогда передаваться по наследству.

На следующее утро, еще до рассвета, я выследил на расстоянии двух часов ходьбы от Медвежьего ручья оленя, который, по описанию лесников, был подходящей дичью. Олень стоял на краю делянки, а его четыре самки паслись на вырубке. Я стоял вместе с лесником Г. на подветренной стороне, на восточном краю делянки. Мы ждали, чтоб рассвело и первые солнечные лучи зажгли вершины елей. Я уже два раза пытался как следует рассмотреть оленя. Это мне не удавалось. Предрассветная мгла еще лежала в сени леса, как притаившаяся дикая кошка. И я не мог знать, имею ли дело со старым, уже сдающим оленем или с молодым на пути развития.

Олень то и дело ревел, и тогда из пасти его вырывались туманные треугольники пара и таяли в серой предутренней прохладе. Молодой олень, бродивший по делянке чуть выше самок, каждый раз пугался рева и шарахался в сторону.

Внезапно мы услышали глухой рев, треск ломающегося хвороста и гулкий стук рогов о ветки. Вздрыгнув, как от удара, олень обернулся к пришельцу и издал навстречу ему дикий крик. Тот ответил глухим рокочущим ревом, затем появился в тени высоких деревьев.

То, что последовало, разыгралось в мгновение ока. Олени, как по команде, склонили головы, и минуту спустя рога их столкнулись с громким стуком. Натиск, стоны, скрежет рогов! Противники расходились и опять сходились, тесня друг друга, нанося удары, защищаясь, отступали и снова бросались один на другого. Первый олень упал на колени и не успел подняться, как нападающий, отпрыгнув в сторону, подвел свои могучие рога под тело упавшего, оторвал его, несмотря на добрые триста килограммов веса, от земли, поднял, с жутким стоном перекинул его через свою голову и швырнул оземь.

В ту же минуту я понял, что именно это и есть тот убийца, который уничтожает молодых оленей. Этот олень, обладающий исполинской силой, умел поднимать с земли противника, равного ему по весу, и швырять его оземь. И в этом тяжелом падении побежденные переламывали себе шейные позвонки и спинной хребет.

Я не мог как следует разглядеть в тени леса этого убийцу-оленя. На расстоянии ста шагов и при этом мглестом, неясном свете, я не смог даже пересчитать отростки рогов первого оленя или оценить размеры его спиц. Еще того меньше мог я узнать, оценить, взвесить и детально разглядеть в сизой мгле старого леса оленя, очертания которого я скорее угадывал, чем различал. Я понимал одно: что этого оленя следует убрать, прежде чем ему удастся перебить всех остальных. Поэтому я ни минуты не колебался; поймал в окуляр оптического прицела туловище убийцы, увидел, как он вздымается в вспышке выстрела, на дыбы, а затем глубоко взрывает землю рогами.

Мой выстрел как бы сразу вспугнул предрассветную мглу. Самки, пасшиеся посреди делянки, обезумев от страха, бросились со всех ног вниз по склону и исчезли среди высоких деревьев. Первый олень, которого я считал мертвым или, по меньшей мере, тяжело раненым, внезапно поднялся на дрожащие ноги и, сгорбившись, ушел под деревья. Мы же застыли на месте, молча нашаривая папиросы. События, разыгравшиеся с такой головокружительной быстротой, взволновали нас так сильно, так взвинтили наши нервы, что в нас все дрожало, каждый нерв трепетал, а сердце колотилось где-то в глотке. Выкурив торопливыми затяжками

первую сигарету и прикурив вторую, я наконец обрел дар слова.

— Что за рога у этого убийцы? — спросил я присевшего подле меня на корточки лесника, который, как и я, утратил было дар слова во время этого драматического происшествия.

— Не знаю, — ответил он, — но это был матерый олень, крупнее, да, куда крупнее, чем наш безухий!

И вот, дорогой мой друг, наступила для меня минута величайшего разочарования моей жизни. Пройдя по четко видимому кровавому следу шагов шестьдесят, мы очутились перед безухим оленем!

Не буду описывать вам — да и не могу описать — моего сокрушения, угрызений совести, которые набросились на меня, как дикие звери; я и поныне еще не смог оправдаться перед этим вынесенным мною же обвинением. Будь он хоть и сто раз убийцей, который буквально истреблял молодых оленей благодаря своей огромной силе и свойственной ему одному сноровки, это был все же олень, которому я спас жизнь, который стал носителем прекраснейших рогов на всей территории этих лесов. Его жизнеспособность и сила, которую он передавал следующим поколениям, искупали ущерб, наносимый им участку.

На этом кончается мой рассказ о безухом олене, дорогой коллега Брозер. Надеюсь, что вы сумели внести некоторую ясность в мой сбивчивый рассказ, хотя и не смею надеяться, что вы меня полностью поняли. В нашей заботе об оленях мы преследовали не только увеличение поголовья оленей, которые обеспечивали бы рекордные результаты, мы заботились — и не в последнюю очередь — и о «нашем олене», о сохранении отдельного и редкого экземпляра. Мы даровали ему жизнь не для того, чтобы вслед затем отнять ее — и как раз когда он достиг наибольшего развития. У нас — сравнение, пожалуй, прихрамывает, но в данный момент я не нахожу лучшего, — олени охранялись до полного развития не для того, чтобы затем убивать их, как откормленных свиней. В данном случае не для того, чтобы посылать их рога на выставки, на потеху зевакам. У меня лично свои счета с оленями наших прекрасных Карпат, а с безухим были совсем особенные. И терпеть не могу, чтобы товарищи по охоте, которые только мнят себя охотниками, довери-

тельно шептали на ухо, что они не пожалеют там каких-нибудь несчастных бумажек, лишь бы я навел их на след такого оленя, чтоб они могли его застрелить. Вот именно этого и хотел я избежать, потому и не желал посылать рога на выставку. А когда мое начальство настояло на этом, я, по меньшей мере, поставил условие экспонировать их на самом невыгодном, самом неприметном месте. И это потому, что я хочу сохранить этого оленя для себя одного — и предпочел бы в тысячу раз, чтоб он и теперь еще ходил своими тропинками в наших вековых карпатских лесах.



В жаркие августовские дни, — начал свой рассказ один из моих знакомых рыбаков, — когда я направлялся на участок рыбного хозяйства, мне случилось совершенно неожиданно повстречаться с Фрицем Хартом, другом молодости, которого я давно уже потерял из виду; к моей величайшей радости я узнал, что Фриц собирается предпринять то же путешествие, что и я, да еще и с той же целью. Оба мы собирались попытать счастья на берегах Олта в эту пору жестокого зноя, когда почти каждый день, — вернее сказать, каждую ночь, — разражались летние грозы — лучшее время для ловли крупных сомов.

Мы встретились после долгой разлуки и поэтому оба искренне сожалели о том, что сможем попытаться возместить все эти годы лишь в течение столь короткого пути. Было бы, конечно, гораздо приятнее вместе ходить на рыбалку, а затем проводить вечера в небольшом деревенском трактирчике, выполаскивая из пересохших глоток августовский зной доброй бутылкой рислинга или Фетяски. Я открыто выразил эту мысль и, когда мой друг Харт, еще до того, что я успел выразить желание видеть его в кругу нашего коллектива рыболовов, в свою очередь обратился ко мне с любезнейшим приглашением, как нельзя лучше соответствующим моему

желанию, я с благодарностью и радостью принял его, тем более, что места рыбной ловли на их участке были, несомненно, из лучших и сулили самый богатый улов. Харт добавил, что надеется при этом перенять у меня некоторые из моих мастерских приемов. Таким образом, якобы, не он оказывал мне услугу, а напротив, был в этом деле заинтересован, — вежливо добавил он и благодарно улыбнулся, видя, с какой поспешностью я принял его приглашение.

Коротко говоря, мы отлично понимали друг друга, несмотря на более, чем пятнадцатилетнюю разлуку — не хуже, чем накануне расставания, и от души радовались возможности провести вместе на рыбалке неделю чудесного отдыха. Тем более, что надеялись подцепить на крючок одного из могучих сомов, о которых нам столько говорили в двух прибрежных селах.

Наше путешествие по железной дороге близилось к концу. Поезд промелькнул перед станцией, на которой мы сошли, вниз по течению Олта, направляясь к ущелью Турну-Рошу, и вскоре исчез из поля нашего зрения в извилинах горного перевала. Мы же взвалили на плечи наши рюкзаки, прошли пешком недалекий путь до деревни и сбросили свою ношу в доме одного нашего знакомого на скрипучий диван. Затем в сопровождении лесного сторожа, мы предприняли разведку на реку, чтобы узнать от него места, где водятся обычно крупные сомы.

— Вот здесь обосновался большой сом, — сказал сторож и указал нам плес, тянувшийся между двумя излучинами Олта на расстоянии примерно четырехсот метров. — В нем не менее двадцати — двадцати пяти килограммов. К несчастью, должен вам тут же сказать, что в этом месте ловить рыбу очень трудно. На дне лениво текущей здесь реки, как и заводи, полно затонувших коряг, нанесенных весенним половодьем. На спиннинг здесь ловить нельзя. Любая удочка, заброшенная глубже, чем на полтора метра в воду, с первой же минуты за что-нибудь цепляется, и вы ее безвозвратно теряете. На поверхности же или на средней глубине пытаться изловить такую громадину не дело. А если хочешь подцепить его, так употребляй крупную наживу темной окраски и води ее близко ко дну, где такая большая рыба обязательно клюнет. Поэтому в таком месте можно ловить только на простую донную удочку или отвесным блеснением, опуская и поднимая так называемую мраморную блесну;

но это отнюдь не интересный метод рыбной ловли; да и к тому же он не раз уже испытывался здесь и не дал результатов. А между тем, в светлые лунные ночи, когда я сидел здесь на берегу и подстерегал этого сома, я видел, как эта громадина выплывает на поверхность, видел, как темная тень его притаилась в более светлой мелкой воде, поджидая добычу, как вдруг клином расступается вода, когда он переходит в атаку, слышал и видел тяжелые удары его хвостовых плавников, которыми он гнал свою добычу к широко открытой сильной пасти. Минуту спустя почти двухметровая тень, вынырнувшая из озаренной луной воды, исчезала вновь и, все что я видел, казалось плодом моей фантазии. Казалось, сом зарылся в ил на дне этой лениво катящейся своей мутной реки, до тех пор, пока, после известного промежутка времени, выше или ниже по течению новый всплеск воды не возвещал о том, что он опять вышел на охоту.

— А скажите, есть ли здесь сомы крупнее этого? — спросил сторожа мой друг Харт. — Конечно, если представить себе такого красавца длиной в два метра, с широкой, черной мордой, скорее похожего на допотопное чудовище, чем на рыбу, можно, пожалуй, довольствоваться и этой величиной.

— В чем дело, доктор? Пойдем вместе к Гаура-Дракулуй — Чертовой дыре, как мы здесь называем это место. Там имеется другой такого же рода красавец. Если здешний весит двадцать пять килограммов, то тот другой, из Гаура-Дракулуй, весит добрых семьдесят, а некоторые считают, что он доходит до ста килограммов. Во всяком случае, такого могучего сома вы не найдете за десятки километров вверх и вниз по течению. Этот огромный сом живет в большом, глубоком и жутком месте, вполне заслуживающем свое имя, где вот уже много лет никто не осмеливается больше ловить рыбы, кроме разве старого Штефана, рыбака-браконьера. Но этот старый Штефан и его браконьерство, вообще, так сказать «особостатья».

— Штефан не вполне в своем уме, — перебил сторожа мой друг Харт, — и этим он обязан трагедии, которая произошла несколько лет назад в Чертовой дыре.

— Чертова дыра — огромный омут в Олте, — продолжал Харт, — длиной по меньшей мере в четыреста метров по сторонам ее обступают обрывистые склоны Фэгэрашского и Чибинского массивов и затеяют густые ели, которые ве-

ками борются за жалкое существование на этой скудной скалистой почве. Воды Олта меняют при впадении в Чертову дыру свою окраску, текут по ней, темные, пенистые, и выбегают оттуда снова светлыми, радостными струями. Дальше рассказывайте уж вы, Ганнес, — обратился Фриц Харт к сторожу, — вы лучше знаете, какое отношение имеет Штефан к Чертовой дыре.

— У старика, — начал снова сторож, — был единственный сын, большой бездельник. Каждой весной он бросал жену и ребенка, дом и сад и шатался где-то по свету, где нет ни мутных вод реки, ни окутанных тучами горных высот. И вот однажды, — это было, мне кажется, на седьмом году его супружества — он больше просто не вернулся осенью домой, как прежде, окончательно покинув жену и ребенка. Тогда дед — этот самый Штефан, о котором речь, — взял на себя заботу о мальчике и воспитал его так здорово, что тот вырос, как настоящий колючий дичок. Горячий, вспыльчивый, готовый в любом споре отстаивать свою правоту, ставящий все всегда на одну карту, не задумываясь, с безумной смелостью, дерзая самое трудное, этот росший без отца сорванец был грозой всех благоразумных родителей. Но Штефан в нем души не чаял.

Как-то раз деревенские ребята играли подле Чертовой дыры: этот глубокий, темный омут был совсем близко, за околицей. Как и всегда, когда среди них был внучок Штефана, дети потеряли в игре всякую меру. Во всяком случае, этот сорванец похвастался, что переплывет Чертову дыру, даже и без сопровождения на лодке. Остальные ребята в этом усомнились, и мальчишка захотел немедленно доказать им свою отвагу. О том, что было дальше, можно было составить себе лишь неясное представление по противоречивым рассказам детей. ЗаклЮчить можно было лишь следующее: мальчик, которому шел всего только седьмой год, с отчаянной смелостью бросился в воду, но, доплыв лишь до середины реки, вдруг дико закричал и в течение нескольких секунд отчаянно барахтался в воде, словно хотел вырваться из каких-то тисков, схвативших его за левую ногу. Правильно ли заметили это дети или нет? Зацепился ли мальчик левой ногой за затонувшую корягу,хватила ли его судорога, которая так больно свела ему ногу, что вырвала у него отчаянный вопль? Или же легендарный огромный сом из Чертовой дыры хватил плывущего мальчика за ногу

и пытался утащить свою жертву под воду? Кто мог точно установить это по рассказам детей? Сам мальчик уже не мог больше поведать ни слова об этом ужасном происшествии. Он потонул несколько мгновений спустя, после того, как издал свой душераздирающий крик, и больше уже не всплыл на поверхность. Позднее, во время судебного следствия, очевидцы утверждали, что похоже было, будто что-то утянуло мальчика в глубь реки.

В течение целой недели все село помогало несчастному деду искать трупик мальчика. Власти отдали селам, лежащим ниже по течению, распоряжение искать его труп. Но все поиски оказались напрасными. Мальчик бесследно исчез в волнах Олта, и причина его смерти так и осталась невыясненной.

Со дня трагедии, происшедшей вот уже скоро пять лет назад, старик Штефан все ночи, с первого дня весеннего половодья и до наступления осенних заморозков — момента, когда начинается зимняя спячка сома, просиживает на берегу Чертовой дыры, ворко следя за своей длинной удочкой с десятью огромными крючками, на которые он хочет поймать водяного великана. Ибо Штефан, единственный из всех, твердо как скала верит в то, что внука его убил громадный сом из Чертовой дыры.

— Но неужели же никто ни разу не пробовал выловить этого сома сетями? — несколько удивленный, спросил я лесного сторожа.

— Ого-о! Пробовали, как же, и уже не раз. Это им даже удавалось дважды, но каждый раз он от них уходил. В первый раз сеть попалась худая, дырявая. Положим, для рыбаков, находившихся на лодках, было просто счастьем, что слишком тонкие нити порвались. Люди ни за что не хотели упустить эту громадину, а чудовище ни за что не хотело позволить вытащить себя из родной стихии, не защищаясь. Это кончилось бы страшной борьбой, исход которой был бы сомнительным: она могла иметь самые непредвиденные последствия. Из всех, находившихся на лодках, ни один не умел плавать. Какое бы это было страшное несчастье, если бы лодки перевернулись! Сколько людей потонуло бы в Олте!

Несколько лет спустя злодей снова попался — на этот раз в более крепкие сети смелых рыбаков, которые были все пловцами. На этот раз все они, как и зрители с берега,

были уверены в том, что сом уже от них больше не ускользнет. Но вышло по-иному! После отчаянной борьбы с сетью, во время которой сом так бесновался и бился, что темные воды Чертовой дыры все вспенились, великан как будто истощил все свои силы и теперь, подчиняясь своей доле, уже не окажет больше сопротивления при вытаскивании сети.

Но рыба замерла лишь на несколько минут. Рыбаки уже почти выбрали сеть, подняв ее на уровень лодки, и изо всех сил гребли к берегу, когда сом снова предпринял попытку высвободиться. «Держи крепче!» — закричали люди и с силой откинулись назад, чтобы оказать противовес сильно тянущей рыбе. Но в следующий же миг сом круто повернулся и бросился к лодке. Рыбаки потеряли равновесие и упали навзничь, лодка опрокинулась, и все четверо попали в воду.

Один только из них, который не умел плавать, смог уцепиться за корму лодки. Отчаянно пытаясь вскарабкаться на нее, он глубоко погрузил корму в воду, нос лодки поднялся высоко над водой, описал в воздухе полукруг и с размаху хватил по затылку рыбака, который как раз выплыл на поверхность. Тот без звука, камнем пошел ко дну и исчез в темных водах Чертовой дыры. Но и рыбака, который не умел плавать, подстерегал злой рок. Испуганный тем, что по его вине лодкахватила по голове вынырнувшего рыбака, он выпустил из рук корму и в следующую же минуту исчез в волнах, подхваченный течением, дважды вынырнул еще, булькая, крича, отчаянно барахтаясь в воде, а затем и вовсе исчез. Остальным двум удалось вырваться из когтей водяного и добраться до берега.

В следующие дни вместе с другими односельчанами они все искали трупы потонувших, и им удалось выловить их. Так кончилась и вторая трагедия, разыгравшаяся в Чертовой дыре, и с тех пор никто уже больше не пытался ловить огромного сома неводом.

Вечером, на постоялом дворе, мы обсуждали завтрашнюю ловлю. Друг мой Харт внезапно обратился ко мне с вопросом:

— Скажи по правде, кажется ли тебе возможным, чтобы в Олте водились такие могучие сомы, которые могли бы угрожать жизни ребенка? Иными словами, существует ли, по-твоему, возможность, чтобы в Олте водились сомы-людоеды? Ты, как азартный рыболов, зашел далеко и знаком

с Олтом от его истоков до самого впадения в Дунай. Помимо этого, я знаю, что тебя близко интересуют животные, птицы и рыбы и что ты изучил немало специальной литературы. Поэтому тебе, наверное, известно кое-что и о сомах-людоедах, и ты сможешь ответить мне на мой вопрос. Наполним еще раз наши стаканы — человек, пожалуйста, еще бутылку Фетяски! А ты, старый друг и победитель водяного, рассказывай.

— Водятся ли в Олте такие сомы, которые могут угрожать жизни ребенка? Я еще до сих пор не слышал про такого рода нападения со стороны сомов. Должен все же прибавить, что в Олте водятся сомы, намного превышающие в длину два метра и имеющие пасть в добрые полторы пяди шириной; они легко могли бы проглотить ребенка пяти-семи лет. Такие огромные сомы весят примерно 60—80 килограммов и говорят, что подобные великолепные экземпляры уже несколько раз вылавливались в Олте. Но настоящего людоеда не ловили еще никогда. Что касается этого специального случая — я говорю о соме из Чертовой дыры, — я уверен, что внук старого рыбака потонул, по всей вероятности, в результате сильной судороги, которая свела ему ногу в икре и в ляжке. Эта судорога причинила мальчику такую страшную боль, что он громко закричал, схватился обеими руками за сведенную ногу — и утонул! А дети, стоявшие на берегу, решили, что маленького пловца схватил и утащил на дно огромный сом.

— Отлично, — прервал меня Харт, — ты говоришь, что мальчик погиб не из-за сома, а из-за судороги. Но, в таком случае, куда же девалось его тело? — Харт снова наполнил стаканы золотистым вином и вопросительно посмотрел на меня.

— Ну, знаешь, в Олте столько мест, где вода глубоко подмыла берег, с такими сплетениями ивовых корней, что з них легко может затеряться прибитое течением тельце ребенка. А раз уж оно попадет под берег или в эту сеть корней, то быстрое течение не позволит ему больше выплыть на середину, а подмытый берег — всплыть на поверхность. Здесь оно может пропасть бесследно.

— Ты, значит, все-таки не считаешь возможным, чтобы сом представлял для человека опасность? — настаивал Харт, возвращаясь к своему первому вопросу.

— Не считаю возможным? Знаешь, это выражение, пожалуй, слишком решительное. Хочу привести тебе несколько данных, которые пришли мне теперь на ум. Все они относятся к дунайским сомам, которые в глубоких водах могут достигнуть величины настоящих речных чудовищ. Дунайские сомы, самые крупные экземпляры этой рыбы, достигают веса в 250 килограммов. Это рыбы с такой огромной пастью и таких внушительных размеров, что для них проглотить ребенка — раз плюнуть. Но ты послушай, что я тебе сейчас про них расскажу.

В одном из старейших изданий труда Брема, посвященного животным, имеется и рассказ Гесснера, согласно которому в желудке одного сома, пойманного в Германии, были обнаружены человеческая голова и рука. В последующих изданиях эта выдержка была опущена в силу существовавшего сомнения в правдивости сказанного Гесснером.

Бруно Нелиссен-Гакен упоминает в своей книге «Гость из лесу», что при вскрытии сома, изловленного в Пресбурге, в желудке рыбы были обнаружены неузнаваемые остатки человеческих костей, по всей вероятности, костей мальчика. Далее там же говорится, что в некоторых местах по Дунаю установлены дощечки с надписью: «Осторожно: остерегайтесь сомов!» и что сторожа купален рассказывают, якобы, во время купания на детей иногда нападают сомы. Но до сих пор эту ужасную опасность удавалось устранять, отпугивая нападающих рыб. Гакен оставляет открытым вопрос, следует ли приписывать этим огромным рыбам отдельные бесследные исчезновения купающихся детей. Должен также указать тебе и на то, что по рассказам многих рыбаков сомы увлекают на дно лебедей, гусей и уток и даже пытаются нападать на скот, пришедший на водопой, а именно на свиней и телят.

Думаю, что даже и эти краткие сведения позволят тебе понять, чего я хотел избежать в моем ответе, исключая слово «невозможно». Согласно отдельным авторам, сом может быть опасным для человека, несмотря на то, что мы лично, здесь на Олте, этого твердо не установили.

Мы так увлеклись беседой, что и не заметили, как прошел вечер. Поэтому нас очень удивило, что уже так поздно; помня, что на следующий день нам предстоит выйти на рыбалку спозаранку, мы допили свое вино и направились

к месту нашего ночлега, в темной августовской ночи, которую лишь время от времени озаряли далекие зарницы.

— Нынешней ночью стоило бы, пожалуй, попытаться поймать крупного сома на удочку, — заметил Харт.

Добравшись до своего ночлега, мы расположились на открытой террасе, чтобы воспользоваться малейшим дуновением свежести, веющим со стороны реки в эту душную предгрозовую ночь.

В последующие дни нам более или менее везло; мы выловили и несколько приличных сомов, но подцепить действительно крупную рыбу ни одному из нас не удалось, хотя мы и проводили вечера, сидя в полнейшей темноте на берегу реки. Водяной был по-прежнему и скуп и суров, уделяя нам из всех своих сокровищ лишь подачки и ревностно оберегая от наших крючков сомов покрупнее.

Несмотря на все это, более чем довольные проведенными вместе днями отдыха, мы сунули наши удочки и остальную рыболовную снасть снова в чехлы и отправились на станцию.

В эти по-прежнему душные, жаркие дни даже и короткая, но чрезвычайно пыльная дорога от села до станции сильно сказалась на нашем настроении, и мы некоторое время не обменялись ни словом.

— А знаете ли вы, товарищи, — прервал наконец молчание провожавший нас лесной сторож, — что старый браконьер Штефан, который уже много лет охотится на огромного сома из Чертовой дыры, пропал с первого же вечера вашего здесь появления и ни одна человеческая душа не знает, куда девался старик? Многие здешние видели Штефана еще в первый вечер вашего здесь пребывания. Старик, как всегда, сидел на берегу Чертовой дыры, наживляя приманку на большие крючки своего перемета, потом с помощью ветхого челна, который давно уже гнил здесь, у берега, перегородил им глубокую подводную яму этого проклятого места. Он причалил затем к берегу, закрепил конец своей снасти и засел под кривой ивой, на своем излюбленном месте. С тех пор никто уже старика больше не видел. Конечно, между тем смерклось, месяца в ту ночь просто не было; лишь дальние всплохи освещали глубокую летнюю ночь. Кому было ходить в такую пору на берег Чертовой дыры? Из деревенских никто бы на это не осмелился! Та-

ким образом, никто и не сумел сказать, что случилось со старым рыбаком.

Несколько минут спустя поезд подошел к станции, мы вошли в свое купе, паровоз тронулся и мы в последний раз помахали еще на прощание оставшемуся на перроне сторожу, вышедшему провожать нас. Затем остались стоять у окон, вывесившись наружу, так как жара в этом поезде, пришедшем с раскаленной солнцем румынской равнины, была просто невыносимой и единственное облегчение мог принести только встречный ветер.

Прошло примерно три недели после отпуска, проведенного нами совместно на рыбалке. И вот как-то утром я получил письмо от моего приятеля Харта, несколько удивившее меня, так как расставаясь, мы договорились не писать больше друг другу, а встречаться каждый месяц, в первое же воскресенье, на берегу реки. Крайне заинтересованный поводом, побудившим его прислать мне это послание, я открыл конверт и нашел в нем следующее сообщение:

«Дорогой друг!

Ты, конечно, несколько удивишься, видя, что вопреки нашему соглашению я тебе все же пишу. К этому побудило меня происшествие, которое я обязательно хочу рассказать тебе, думая, что для тебя небезынтересно узнать о случившемся.

Должен сказать тебе, что старый браконьер, рыбак Штефан (который, как ты, конечно, помнишь, бесследно исчез в первый же проведенный нами здесь вечер), был найден, а вместе с ним и огромный сом из Чертовой дыры, которого он так ненавидел. Этот сом, которому приписывалась смерть Штефанова внука и который был причиной смерти двух рыбаков, имеет теперь на совести и старика Штефана. А Штефан — смерть сома. Деревенские прозвали этого сома и теперь, после его смерти, «убийцей».

Штефан и сом, эти два непримиримых противника, убили друг друга. Но расскажу тебе всю эту трагедию по порядку так, как это установило следствие и как предполагали деревенские жители.

В первый вечер, когда мы с тобой сидели за бутылкой вина, и позже, когда установили на обратном пути, что душная ночь крайне благоприятна для ловли крупных сомов, старика Штефана видели в последний раз в сумерки на берегу Чертовой дыры. С тех пор никто не мог обнару-

жить следа его, пока, примерно десять дней назад, не было найдено выброшенное на песчаную отмель человеческое тело, уже довольно-таки разложившееся, а вместе с ним и более чем разложившийся огромный сом. Судебное следствие установило, что это, несомненно, тело Штефана, вокруг которого, как и вокруг дохлого сома, обмоталась длинная бечева перемета. Исходя из этого факта, следствие сделало следующий вывод :

Сом из Чертовой дыры попался на удочку Штефана в ту самую душную августовскую ночь, заглотнул один из его огромных крючков с живцом и, при бешеных попытках освободиться, вогнал себе в тело еще три крючка. Это стесняло рыбу в ее движениях и противопоставило рыбаку лишь часть ее первоначальной силы. Штефан, который, по всей вероятности, почувствовал слабое сопротивление сома, попытался выловить его в одиночку, без чужой помощи, чтобы полностью вкусить торжество, которое должно было доставить ему сознание, что он, наконец, собственноручно победил убийцу своего внука, убийцу двух рыбаков.

По всей вероятности, ему удалось подтащить рыбу из глубоких вод к самому берегу. Здесь, однако, чувствуя, что ему грозит опасность быть вырванным из родной стихии, сом выдержал свой последний яростный бой за свободу. Рыбак, обмотавший вокруг руки конец снасти, для того, чтобы бьющаяся рыба не могла вырвать ее из рук, был увлечен сильным рывком сома в воду и упал так неудачно, что два крючка его же снасти впились ему в одежду и даже в тело. Один проколол штаны и глубоко вошел в бедро, второй — проник в брюшину рыбака ; очевидно, этот последний, при последующих рывках рыбы, причинил Штефану ужасные страдания. (При вскрытии оба крючка были найдены именно в этих двух местах !) Таким образом, была решена судьба рыбака, который оказался одновременно и добычей. Возможно, что, испуганный падением человека в воду, сом бросился прочь от берега, чтобы увлечь в глубокие воды прикованного к нему победителя ; или же просто его подхватило течение. Установлено было одно : человек, в ногу и в живот которого крепко впились крючки, увлекаемый бьющейся рыбой, должен был неизбежно утонуть. Сом же, в свою очередь, не мог освободиться ни от крючков, ни от своего победителя ; бечева накрепко обмоталась вокруг них, а крючки засели в теле. Следует предположить, что

человек умер быстро, тогда как сом волочил за собой свою страшную ношу, по всей вероятности, еще несколько дней, пока, наконец, и сам не потиб от ран, причиненных ему крючками. Обе жертвы были найдены лишь много дней спустя. Человека похоронили срочным порядком на берегу реки, а сома изрубили на куски и выбросили в воду, на съедение другим рыбам.

Так погиб легендарный сом из Чертовой дыры! Должен еще сообщить тебе, что весил он, по оценке компетентных людей, добрых семьдесят, а то и все восемьдесят килограммов, имел в длину чуть больше двух с половиной метров, а пасть у него была такая огромная, что для него было сущим пустяком проглотить ребенка. Что, однако, отнюдь не означает, что он, действительно, это и сделал.

До свидания в октябре!

Твой друг

Фриц Харт».



Они встретились снова там, на вершинах гор между Балиндру и Ханешом, на хребте, вклинившемся между глубокой впадиной Балиндру и речкой Ханеш и лишь в долине, у самого пенистого, бурного Лотру, распадающемся на небольшие кряжи. Старик бросил испытующий, чуть озабоченный взгляд на главный гребень массива, вокруг которого клубились черные тучи, увидел, как солнце как раз в ту минуту садится за утесистым пиком Концу; но лишь когда охота кончилась, отдал себе отчет в том, что в течение минуты подумывал было на Ханеше приостановить преследование, оставить собак одних в лесу и как можно скорей; до падения ночи, спуститься в долину. Да, лишь в конце охоты он как следует отдал себе отчет в том, что понял там, наверху, всю опасность, знал, что любое промедление может повлечь за собой неисправимые последствия, заставив их теперь, в ноябре, заночевать в горах, вдали от всякого убежища, и что грозные, темные тучи предвещали снег, а буран, который на выстое свыше 2000 метров над уровнем моря гнал перед собой тучи, как стадо огромных черных зверей, скоро должен был разразиться и в горах.

Но этот миг раздумья был слишком кратким для того, чтобы принять решение, дать улечься охотничьему азарту, прислушаться к голосу рассудка. Снизу, из долины Ханеша,

сюда, в горы, отчетливо и звучно доносился лай собак, гнавшихся по следам зверя; казалось, что после отчаянной травли — из долины Стриката вверх до Фурники, через впадину Балиндру и до хребта Ханеша, а затем снова в долину ручья — и кабан и собаки дошли почти до полного изнеможения. Это означало, что в данный момент представлялась последняя и единственная возможность всадить в затравленного зверя смертоносную пулю, свалить этого матерого кабана с такими огромными клыками, каких еще не видел даже и старик в своей более чем сорокалетней охотничьей жизни. Этого кабана уж много лет знала вся долина Лотру, однако до сих пор никому еще не удалось взять его на прицел. И только сегодня старшему из охотников посчастливилось выстрелить на большом расстоянии в убегающего по склону Фурники кабана, всадить в него пулю. Но она не угрожала жизни зверя, а лишь ранила его в левую заднюю ногу; и несмотря на то, что крупный заряд пробил в его ляжку немалую дыру, несмотря на большую потерю крови, собакам удалось затравить кабана лишь в долине Ханеша. Но расскажем все по порядку.

Еще на рассвете старик и молодой охотник вышли на охоту из Добруна, добрались по главному гребню до истоков Фурники, а затем продолжали свой путь до скалистого обрыва Стриката. Мелкая трава высокогорного пастбища, которую на заре покрывал густой покров инея, обрела теперь в лучах солнца снова свою осеннюю коричневатую окраску; на ней нельзя было различить ни малейшего следа зверя, но собаки до того бесновались, что их еле удавалось сдерживать. Твердо убежденный, что не больше, чем несколько часов до того в скалистом хаосе леса Стриката прошел медведь, старик велел собакам искать и сверкающим взглядом стал следить за своими ищейками, которые вскоре исчезли среди елей, ольшаника и усыпанных ягодами кустов бузины. Вскоре у подножия скал раздался первый лай напавшей на след собаки, а скалистые стены подхватили его на несколько голосов и донесли до охотников.

Охота пошла круто под гору, и старик решил, что медведь захочет прорваться сквозь тесное ущелье; он объяснил это в нескольких словах парню и велел стать у выхода.

— Ты должен подстрелить своего первого медведя, Курт, — сказал он и поспешно добавил: — Не целясь слишком высоко среди утесов. дай медведю пройти мимо тебя и

тогда всади в него пулю сзади наискосок, примерно на высоте лопатки. В грудь не стреляй; медведю от тебя уйти некуда, он должен пробежать мимо тебя. Назад его не пустят собаки, а вправо и влево путь ему преграждают скалистые стены. Ему остается только прорваться сквозь ущелье. Как выпустишь пулю, нажимай пальцем на дробовые спуски и стреляй, не задумываясь, если он попытается уйти или упадет, но все же будет еще дрыгать лапами. А теперь беги, сколько позволят тебе сердце и легкие.

И молодой охотник вихрем умчался прочь, а старик неторопливо направился к поляне Фурника, ежеминутно ожидая услышать отголосок выстрела у подножия скал. Но выстрела не последовало. Лай гончих, вначале спускавшийся вниз по склону, снова отчетливо раздавался, как бы приближаясь к поляне. Старик бросился бежать по тропинке с тем, чтобы пересечь медведю дорогу на стыке лесов Фурники и Балиндру. На бегу он думал: отчего бы зверь не избрал тесного ущелья, которое так любили обычно медведи? Что побудило его решиться пересечь среди бела дня открытое горное пастбище Фурники? Но старик и не успел толком додумать свою мысль, как его внезапно как бы рвануло назад на бегу, ружье перелетело из левой руки в правую, резко шелкнул предохранитель, и охотник упал на колени сшибко бьющимся сердцем, задыхаясь от бега. Метров на двести ниже места, где он остановился, из леса выскочил кабан почти невероятных размеров и попытался, петляя, пересечь поляну.

«Эх дела! Вот бы мне теперь молодости и сил, — подумал старик, в то время как прицел и мушка его трехстволки плясали, как сумасшедшие, вокруг убегающего зверя. Это был кабан из долины Лотру, ставший уже легендарным. Великан, чьи клыки были известны всем и каждому, которого еще никто не сумел подстрелить! Вот он теперь передо мной, и все дело лишь в доле секунды хладнокровия, минуте мужества, спокойного дыхания и ровного биения сердца.

Грянувший выстрел нарушил тишину первых зимних дней, царившую на поляне Фурники, вспугнул дроздов-деряб и рябинников, вспорхнувших из густой хвои можжевельника, и на миг шарахнул в сторону кабана. Но минуту спустя он уже мчался дальше, прихрамывая на левую заднюю ногу, но все же еще очень быстро. Вслед за ним, всего в каких-нибудь десяти шагах от его хвоста, неслись по свежему кро-

вавому следу собаки; они большими прыжками пересекли поляну и исчезли в густом ельнике впадины Балиндру.

В том месте, где пуля нагнала кабана, лежали клочки жесткой щетины, чуть дальше виднелись темно-красные капли крови. Кустик сухой чемерицы был обильно орошен кабаньей кровью и, наконец, на опушке леса отчетливо виднелся кровавый след, который становился все тоньше и тоньше, но все же позволял проследить его. «Подстрелен в заднюю ногу», — пробормотал про себя старик, прислушиваясь к лаю собак. «Это, конечно, не смертельная рана, — прикинул дальше в уме охотник, — и причинить такому большому зверю крупного увечья не может, так как кости, очевидно, остались нетронуты». Разгоряченные запахом крови, собаки будут, конечно, преследовать кабана еще упорнее и довольно долго, но кончится ли это успехом или нет, в этом старик сомневался. С давних пор все знали, что этот матерой кабан лишь изредка, лишь на несколько минут позволял травить себя собакам, а затем вырывался и мчался своей неутомимой кабаньей рысцой по долинам, обрывам и склонам до тех пор, пока у собак языки не вываливались до земли и они не отказывались от преследования. Этот кабан, умашенный всеми зельями заповедных карпатских лесов, по всей вероятности, должен был поступить и на этот раз не иначе. Кровоточащая рана ни в коем случае не могла помешать ему в бегстве; напротив, она все время должна была побуждать его увеличить расстояние между собой и охотниками. В конце концов... Но здесь не могли помочь никакие соображения. Охотнику оставалось только преследовать подранка со всей возможной скоростью в надежде, что кабан попадется еще раз собакам. Может быть, пуля попала все же более удачно, чем предполагал старик!

Охота шла теперь через впадину Балиндру. Изредка до старика доносился еще, в течение двух-трех минут, лай гончих, и тогда в сердце его пробуждалась надежда, что собаки, наконец, затравили зверя. От поляны Фурника старик пробежал по следам охоты вниз по обрыву до самого ручья Балиндру, держась все время на расстоянии выстрела за собаками и все время надеясь, что ему удастся всадить в кабана еще одну пулю. Но эта надежда все время рассеивалась. Кабан не позволял собакам остановить себя, а собаки не могли заставить его остановиться; он вынуждал своих преследователей мчаться все дальше вперед, через овраги,

долины и кряжи, навязывая им свою волю. Подчас он останавливался на несколько минут. Отгонял собак, скалил покрытую пеной пасть, обнажая клыки, а когда собаки отпрыгивали далеко назад, испуганные этим нападением, с проворностью рыси исчезал в зарослях, чтобы снова вынырнуть на расстоянии сотни шагов, прорываясь сквозь молодой ельник с мощью паровоза. Все дальше, дальше! Это была старая, испытанная тактика матерого кабана из долины Лотру. Он хотел измотать вконец преследующих его собак. Три горных хребта, а затем три долины — этого было довольно, чтобы заставить отказаться от преследования даже и лучших гончих.

Когда кабан стал круто взбираться в гору по склону по ту сторону Балиндру, старик далеко отстал от него. Отказаться от преследования, однако, он не хотел. Да разве можно было отказаться от него теперь, когда, наконец, ему удалось взять на прицел — более того, подстрелить — легендарного кабана из долины Лотру? Нет, нет, ни за что на свете! Он должен был продолжать погоню до тех пор, пока собаки еще преследуют с громким лаем кабана, до тех пор, пока ему не посчастливится прикончить зверя еще одной пулей. Кабан спасал свою жизнь, старик же преследовал мечту своей жизни, гонясь за крупнейшим кабаном гор Чибина и Лотру!

Охотники встретились снова наверху, на горном хребте, между впадиной Балиндру и долиной Ханеша. Старик с удивлением увидел молодого охотника, внезапно появившегося на поляне Ханеша, поманил его к себе знаком руки и, пока тот подходил к нему, бросил взгляд на грозные тучи, громоздящиеся вокруг пиков, на садящееся в тумане за Концу солнце, понял, что тучи предвещают снег, что скоро настанет ночь и застанет их здесь, вдали от всякого убежища. и все же тотчас же отогнал все эти благоразумные мысли. Допустить, чтобы парень в одиночку справился с кабаном? С этим огромным матерым кабаном из долины Лотру, крупнейшим из всех, подстреленных им до сих пор?

Нет! Этого кабана старик хотел застрелить сам! Он уже всадил в него пулю, к сожалению не вполне удачно попавшую. Следующая — дал себе клятву старик — должна добить кабана. Пусть разыграется непогода, пусть наступит ночь и застанет в горах старика, пусть загонит его до расвета куда-нибудь под ель; с тех пор, как он увидел кабана.

все стало ему безразлично. Он хотел одного — застрелить кабана, матерого, легендарного зверя из долины Лотру! В конце-то концов можно и развести костер, поддерживать хороший, большой огонь и как-нибудь провести долгую зимнюю ночь. Но отказаться теперь? Нет, никогда!

Из долины Ханеша доносился глубокий, звонкий лай собак, преследующих зверя вверх по склону.

— Курт, — сказал старик, — мне кажется, что теперь собакам удалось, наконец, затравить кабана. Пуля, которую я, как видно, всадил ему в левую заднюю ногу, пожалуй, мешает все же этому сатане уйти от нас. Возможно, однако, что он еще раз прорвется. Попытайся преградить ему дорогу и не допустить, чтобы он перемахнул еще через один кряж. Если это ему удастся, мы его потеряем. Ни нам, ни собакам больше не выдержать. Через час стемнеет. До тех пор мы должны покончить с ним. Беги же, беги так, словно речь идет о твоей жизни, и перережь ему отступление по противоположному склону. А я выскочу на него.

Внизу, в русле Ханеша, кабан вошел в одну из бесчисленных впадин этого горного ручья, чтобы прохладными струями утолить жгучую боль раны. Собаки бросились на берег, ловя воздух пастью, из которой висел язык, и лишь время от времени сердито лая. Это, однако, уже не было настоящим лаем гончих. Их силы приходили к концу, и было вопросом минуты, оставят ли они кабана лежать там, где он лежал, в воде, и уйдут с поджатыми хвостами прочь, чтобы отыскать по следам своего хозяина. Но и богатырские силы кабана были подточены. Значительная потеря крови на протяжении этой длительной и упорной погони сильно сказались в последние минуты бегства. Кабан обессилел, измотался вконец; сильные ноги его, которые шутя несли прежде его могучее тело на самые большие расстояния, сквозь кустарник, бурелом, по скалам и осыпям, начали дрожать на последнем отрезке пути, то и дело подгибались, отказывались нести его дальше. Поэтому он и бросился в струящиеся перед ним воды Ханеша, и ручей смыл кровь, запекшуюся по краям раны, и теперь нес в долину узенький кровавый след.

Охотники одновременно настигли кабана, лежавшего в вымoine Ханеша. Молодой, которому эти места были незнакомы, подчас был вынужден прислушиваться к лаю собак,

чтобы установить, где находится зверь, и продвинуться еще на сто метров в его направлении. Старик же, силы которого — как и силы собак и кабана, тоже приходили к концу, напротив, еще издали угадывал, где он найдет кабана, но был вынужден продвигаться медленно, потому что сердце его снова бешено колотилось, а в груди хрипело. Таким образом, оба охотника — несмотря на то, что шли разными дорогами, — пришли к месту, где был кабан, одновременно: молодой — со склона по ту сторону ручья, а старый — по эту сторону.

Пытаясь пробраться сквозь густой сухостой, чтобы расчистить себе место для выстрела, старик, находившийся всего лишь в каких-нибудь двадцати шагах выше кабана на склоне, нечаянно наступил на сухую ветку. Несмотря на шум потока, кабан слышал треск хвороста и почуял опасность. Он грузно поднялся, могучим рывком выбрался на берег и хотел было броситься в ельник на правом берегу ручья; но в ту же минуту раздались два выстрела. Ноги кабана подогнулись под его тушей, как перебитые сильным ударом меча, легкая дрожь пробежала по его телу, и он раз-другой устало ткнулся рылом в прибрежную траву. В ту же минуту собаки набросились на него, вырывая клочки щетины из его шкуры, вцепились ему в уши; но кабан уже больше не защищался. Матерый вепрь из долины Лотру давно уже отправился к своим кабаньим праотцам.

Молодой охотник с довольным смехом сбежал вниз по склону, отпихнул ногой собак, вцепившихся в шкуру кабана, так сильно, что они, жалобно скуля, отлетели в сторону, и крикнул старику, который осторожно спускался по круче:

— Кабан из долины Лотру мой! Думаю, что в жизни своей мне уже не удастся подстрелить другого таких размеров.

Старик в удивлении остановился, услышав слова юноши, окинул испытующим взглядом убитого кабана, и уголки его губ скривились в насмешливой улыбке:

— Твой? Я, по всей вероятности, ослышался. Стрелял-то ведь я! Моя пуля уложила кабана! Что же означают твои слова: кабан мой?

— Стрелял ты? — Молодой охотник медленно и раздельно произнес каждое слово, как бы читая его по слогам. — Ты стрелял? — повторил он еще раз вопросительно, ре-

шитительно сорвал с плеча только что вскинутую на спину трехстволку, открыл затвор, торжествующе вытащил расстрелянную гильзу и воскликнул: — Вот! Вот тебе доказательство того, что стрелял я, что кабана уложила моя пуля!

Старик удивленно посмотрел на пустую гильзу на ладони юноши, снял, в свою очередь, ружье с плеча, вынул из затвора также расстрелянную гильзу и насмешливо сказал:

— Что можешь ты, могу и я! Вот тебе доказательство, что стрелял и я.

— Так значит, мы оба выстрелили одновременно? — спросил молодой. — Очевидно, звук наших выстрелов слился, и, так как каждый слышал только свой, мы оба думали, что разрядилось только его ружье. Ну и история! Кому же, в конце-то концов, он принадлежит?

— Это мы сейчас установим, — сказал старик. Он подошел теперь совсем близко, и по лицу его легко можно было угадать, что и он, как и молодой охотник, считал себя единственным победителем. — Прислони-ка свою трехстволку к ели и помоги перевернуть кабана. При последнем дневном свете мы быстро установим, кто убил его. Потом разведем костер, заготовим дров на всю долгую зимнюю ночь и пободраствуем у изголовья убитого нами кабана из долины Лотру.

Молодой удивленно огляделся вокруг, словно впервые выйдя из того полубредового состояния, в которое привел его охотничий азарт.

— И в самом деле, скоро ночь. Что мы теперь будем делать? До слюдяной разработки на Лотру еще добрых шесть часов ходьбы. Шесть часов ходьбы по непроходимым местам, без дорог, без тропинок. Заночевать здесь? Думаю, что ночь будет чертовски холодной, сколько бы мы ни разжигали костер.

— Хватай! — сердито пробормотал старик, сбросил на траву заплечный мешок и схватил кабана за хвост и заднюю ногу. — Давай! — прикрикнул он еще раз на юношу, который все еще растерянно, озабоченно смотрел на темное небо, заволоченное тяжелыми снежными тучами. — Возьми его за уши и переверни на брюхо. Так! А теперь покажи мне, куда ты попал. Откуда, под каким углом ты стрелял, откуда спустился?

Не отвечая на вопрос, юноша склонился над мордой кабана, с минуту нащупывал меж щетиной на лбу и затем весело воскликнул :

— Вот здесь, здесь ! Пуля вошла ему прямо в лоб и свалила его с ног. — В доказательство он сунул наполовину мизинец в пробитое пулей отверстие и торжественно посмотрел на старика : — Наповал уложил !

Старик ничего не возразил на это утверждение, вернее, гордое требование права на собственность.

— Моя пуля засела, очевидно, под левой лопаткой, — пробормотал он затем как бы про себя. Он склонился над кабаном, провел тыльной стороной руки по его передней ноге и поднял затем руку к свету. Она была вся в крови. Старик стал прощупывать дальше и вскоре нашел рану. Как он это и сказал, пуля вошла в тушу кабана на высоте лопатки.

Они перевернули кабана на спину. Старик вынул свой охотничий нож, выпростал дымящиеся кишки, вскрыл с помощью небольшого топорика грудную клетку, прорезал грудобрюшную преграду и вскрыл грудную полость. Он вынул затем легкие и сердце и поднял их на свет угасающего дня.

— Подожди и убедись самолично, — обратился он к юноше и разложил легкие на камне.

Оба молчаливо стояли и смотрели на грозные следы крупнокалиберной пули. В левом легком зияла дыра величиной с кулак, верхний край сердца был прострелян, как и аорта, правое легкое изорвано на части. Все это сделала одна пуля ; без сомнения, кабан был бы убит наповал даже и без выстрела в лоб молодого охотника.

С минуту оба посмотрели друг другу в глаза. Теперь они знали, что оба выстрела были смертельными и причинили смерть в одну и ту же минуту. И снова вставал вопрос : кому же принадлежит кабан ?

Старик думал : «Согласно законам охоты он, несомненно, принадлежит мне. Первая моя пуля, безусловно, только ранила его, но она дала ясный кровавый след ; без этого выстрела кабана бы удалось, согласно его обычной тактике, перемахнуть еще через два склона и две долины. Будь он цел и невредим, ни мы, ни собаки не смогли бы выдержать дальнейшего преследования. Таким образом, он, без всякого сомнения, ушел бы от нас. Но по неписаным охотничьим законам, в счет идет не выстрел, ранивший дичь, а только

первая пуля, причинившая смерть. Но кто же сможет решить, который из нас двоих первым всадил в кабана эту решающую пулю? Ружья наши разрядились одновременно, так что ни один из нас и не слышал чужого выстрела. Справедливо было бы поэтому снова вспомнить мой первый выстрел, потому что он помешал кабану уйти от нас и дал возможность прикончить его. Будь наша добыча лишь обычным кабаном, средних размеров, пускай бы даже и крупным, что касается меня, я, ей-богу, охотно отказался бы от него и предоставил его парню. Но от крупнейшего во всей долине Лотру кабана ни за что не откажусь! Такого зверя удается застрелить охотнику лишь раз в жизни. Неужто же я, который всю свою жизнь охотился, но никогда еще не встречал подобного кабана, должен отказаться от него теперь, когда он лежит у моих ног, убитый моей пулей? Нет, этого от меня нельзя требовать, это было бы уже не великодушным отказом, а просто глупостью. Кабан принадлежит мне! Его знаменитые клыки должны украсить мою коллекцию трофеев. Поэтому я по праву буду требовать его».

А молодой охотник думал: «Это не первый матерой кабан, которого убивает старик. Конечно, этот кабан — более чем просто выдающийся экземпляр, и я отлично понимаю, что старику нелегко от него отказаться. Но за всю свою долгую и богатую удачами охотничью жизнь он, несомненно, уложил добрую сотню кабанов. Как хорошо было бы с его стороны признать, что кабан был добыт моим выстрелом. Согласно неписаным охотничьим законам, первый выстрел старика не в счет. Право собственности на благородную дичь определяет только последний выстрел, причинивший смерть. Но который из нас двоих на долю секунды раньше пристрелил кабана? Старик или я? Кто может решить это? Ведь третьего лица здесь не было, а мы оба и не подозревали, что выстрелили одновременно. Однако решить этот вопрос необходимо! По-моему, существуют лишь два выхода. Старик откажется от своего выстрела и предоставит кабана мне или же мы прибегнем к жеребьевке. Я лично отказаться не могу. Это мой первый кабан!»

Сумерки спустились, крадучись, из лесу, внезапно пошел снег, сорвался ветер и стал кидать крупные мокрые хлопья в лицо охотникам. Охотники встрепнулись, оставили кабана на месте, где он лежал, и стали торопливо собирать топливо. Его здесь было достаточно. Целые стволы сухого бурелома

лежали на опушке леса, а Ханеш нанес во время весенних разливов и после сильных гроз в горах достаточно сплавного леса, чтобы обеспечить хороший огонь на протяжении всей долгой зимней ночи.

Снегопад усилился, мокрый ноябрьский снег шуршал по хвое, стегал стволы и ветви, шелестел в прибрежной траве и бесшумно сеялся на журчащий ручей. Стало совсем темно, в небе не видно было звезд. Ели уже больше не уходили в небо; казалось, их темная стена врастала куда-то в бесконечность. Усталые, измученные собаки тихонько скулили, выискивая себе убежище под лапчатыми елями, но все никак не могли угомониться, сколько бы ни свертывались в комочки, пытаясь укрыться от холода и сырости. Они все время покидали избранное ими место, бродили взад и вперед, выискивая новое, и по три-четыре раза кружились волчком, прежде чем броситься на землю.

Старик, наломавший сухих веток, стал шарить в кармане бумагу и спички. Внезапно по спине его пробежала холодная дрожь. Он вспомнил, что прошлой ночью в Добруне, когда он вынул из кармана спички, коробок открылся и все его содержимое рассыпалось по полу. Он тогда шарил в темноте одну только из них, зажег и посмотрел на часы, а затем сунул пустой коробок снова в карман куртки, решив собрать поутру рассыпанные спички. А утром, выходя вместе с юношей еще до рассвета из дому, где они переночевали, совершенно забыл про это ночное происшествие и не подобрал спичек с полу. Теперь он стоял на берегу Ханеша, глубоко взволнованный, шаря по всем карманам, но не находя в них ни одной спички.

— Курт, — сказал старик куда-то в темноту, в направлении юноши. — Курт, дай мне, пожалуйста, твои спички, мои остались в Добруне.

Старик стоял, чуть нагнувшись, и в ожидании спичек прислушивался к звукам, идущим с той стороны, где он угадывал присутствие юноши. Он слышал, как тот поспешно шарит по карманам куртки и штанов в поисках спичек, и внезапно выпрямился, услышав его голос. Уж не ослышался ли он? Неужели же юноша на самом деле ответил: «У меня нет спичек».

— Не дури, Курт, — снова сказал старик, — поищи как следует. У тебя не может не быть спичек.

И старик снова насторожил слух. Он угадывал в темноте, что юноша еще раз обыскал все свои карманы; когда же все шорохи, доносившиеся с той стороны, затихли, услышал снова слова, прозвучавшие, как ужасающий приговор:

— У меня нет спичек!

— Вот черт! Что же теперь делать? — раздался снова голос старика. — Мы устали, белье наше все взмокло от испарины, а мокрый снег вскоре насквозь промочит и верхнюю одежду. Через полчаса мы сможем спокойно лезть и в Ханеш; мокрое от этого все равно не будем. Что ж мы предпримем? Сейчас должно быть примерно шесть часов вечера. Светает же не раньше, чем в семь. Это означает тринадцать долгих, мучительных часов без огня, при растущей стуже и метели. Это равно смерти!

— Попробуем пуститься в путь, — перебил его юноша. — Проберемся наощупь в этой темени до берега Лотру и побредем дальше, лишь бы не сидеть здесь, ничего не предпринимая и обрекая себя на мокредь, стужу, на верную смерть. Давай что-нибудь предпримем. Пойдем!

— Курт, — ответил старик, — если ты хочешь и можешь идти, иди! Я тебя не задерживаю. Сам же я больше не в состоянии. Я человек уже немолодой, и силы мои на исходе. Должен, однако, предупредить и тебя. Сможешь ли ты в этой темени пройти хотя бы сто шагов вниз по течению, не переломав себе ноги? А как ты проберешься сквозь бурелом, который и днем нелегко преодолеть, как перейдешь по утесам по ту сторону Лотру? Ведь это и днем нелегко. А проделать весь обратный путь через Ханеш, Балиндру, Фурнику, по обрывам Стриката до самого Добруна даже и тебе, пожалуй, не под силу. Не забывай, что и при свете дня это означает добрых восемь часов ходьбы. И куда больше в этой темени, в которой не различить ни камня, ни ветки, ни поваленного ветром ствола! Один лишь ошибочный шаг — и коршуны разнесут твои косточки по всей долине Ханеша или впадине Балиндру. И никогда душа человеческая не прознает про то, где испустил ты свой последний вздох.

Последовало длительное молчание. Мокрый снег, замерзающий на холодном ветру, падал теперь так обильно, что вода проникала сквозь борты их шляп и ручейками стекала на грудь и спину. Ветер налетал порывами в долину, метался от склона к склону, набрасывался то справа, то слева на

охотников, которые жались к стволам ели в надежде хоть как-нибудь укрыться. А кругом стояла все та же непроглядная, жуткая темнота, таившая все ужасы выюжной зимней ночи.

Внезапно молодой охотник вскрикнул:

— У меня же в кармане для часов моя зажигалка! А я про нее совсем забыл! Вот она! Вот! — И он торопливо выхватил из кармана брюк небольшую никелированную зажигалку и нажал на кнопку. Крышка отскочила, в ночной темноте сверкнула на миг небольшая искорка, но пламени не последовало.

Охотник казался одержимым. Он торопливо захлопнул крышку и снова щелкнул ею. Снова и снова, в третий, четвертый, десятый раз тщетно пытался он выбить огонь; но зажигалка не действовала.

— Ах ты, балда! Трижды балда! — воскликнул старик, вскочил с места и сильной хваткой вцепился в руку парня, который продолжал, как сумасшедший, щелкать своей зажигалкой. — Как может зажигалка дать пламя в такой буря? После твоих дурацких попыток — по меньшей мере, десяти! — фитиль, конечно, насквозь промок от снега и уже вряд ли загорится. Да и если бы он еще мог воспламениться, то ветер сдувает искру в сторону и не дает ей долететь до фитиля. Так ты никогда не разожжешь огня.

Молодой натянул воротник на голову, бросился на землю, со всех сторон загородился мокрыми полами куртки от ветра и снега и снова щелкнул зажигалкой. Маленькое зубчатое колесико скрипнуло по камню, но искры не последовало. По всей вероятности, ветер занес снежинку между колесиком и камнем, который промок и уже не мог больше давать искры.

— Выбыла из строя, — пробормотал сквозь зубы юноша и снова бросился на землю под елью. Теперь, когда он был уже так близок к спасительному огню, отказ его зажигалки действовать и сознание своей собственной опрометчивости приводили его в отчаяние. Он застонал, как раненый зверь, и так и остался лежать на земле, безумными глазами уставившись в бурную карпатскую ночь.

— Как мог ты действовать так безрассудно, — минуту спустя заговорил старик. — Даже и если бы твоя зажигалка выбила огонь и выюга не загасила его минуту спустя, даже и тогда ты бы не смог разжечь костра. Неужели же ты ду-

маешь, что насквозь промокший хворост так сразу бы и загорелся? Да и вообще, были ли у тебя под рукой бумага или хворост? Нет, ничего воспламеняющегося не было, а ты уже скакал от радости, как сумасшедший, среди вьюги и снега и уже думал, что преодолел и холод, и сырость, и эту жуткую горную ночь. Курт, ночи в Карпатах жестоки и беспощадны. Преодолеть их может только сильный, только предусмотрительный. Мы оба сегодня сплосховали. Да, сплосховали и оказались слабыми и безоружными перед враждебностью этих непроходимых лесов, без дорог, пожалуй, даже без тропинок.

Старик с минуту помолчал; потом, видя, что юноша все еще не двигается, продолжал свою речь:

— Сегодня поутру я забыл подобрать в Добруне спички, которые по небрежности рассыпал накануне вечером по полу. Это была оплошность, за которую я теперь дорого плачу; ведь она может стать для нас роковой. Когда мы вошли на вершину Ханеша, я видел, как над Концу темной стеной собрались снежные тучи. Знал, что это означает, сознавал, что любое промедление, дальнейшее преследование кабана повлечет за собой необходимость заночевать под открытым небом. Заночевать в лесу в бурю и снег, в холоде и слякоти! Но, несмотря на все эти грозные предвестия, я отбросил всякую предосторожность, заслышав лай собак в долине Ханеша. Единственной моей мыслью было: за кабаном! Нам представлялась редчайшая возможность затравить этого огромного кабана. Мы воспользовались ею, и вот — кабан у наших ног! А теперь, теперь мы лежим здесь, промокшие до костей, дрожим от холода на берегу Ханеша и переносим последствия наших промахов. Да, да, и твоего, потому что ты держал в своих руках возможность уберечься от всякой опасности благодаря твоей зажигалке. Твое опрометчивое поведение лишило нас и этой последней возможности спасения, доказало твою слабость.

Старик умолк. Юноша ничего не возразил. И они остались сидеть так долго, долго, погруженные в свои мысли, беспорядочно кружившие вокруг убитого кабана или же показывавшие им в обманчивой смене пестрых образов калейдоскопа теплую комнату и уютные постели.

Примерно в полночь на гребне Ханеша жутко завыл волк. И этот отвратительный вой, то нарастая, то утихая в ужасном диссонансе, долетел до охотников. Вскоре со

скал Лотру ему ответили еще три-четыре волка. Юноша вскочил на ноги, проверил ружье и пощупал заряды в патронташе. Несмотря на то, что вокруг царила такая тьма, что руки нельзя было различить, старик точно знал, что делает молодой.

— Успокойся, Курт, — сказал он. — Волки тебя не тронут. Карпатские волки на человека не нападают, даже и среди зимы, тем менее в начале ее, когда у них корму вдосталь. Они только сзывают друг друга, чтобы отправиться стаями на охоту. По всей вероятности, буря скоро уляжется и небо прояснится. Волки, обеспокоенные первой метелью этого года, сидели вчера вечером в своих дневных укрытиях. Теперь они уже предчувствуют новую перемену погоды и их вожак собирается выйти на охоту. Он сзывает всю стаю, а молодые волки откликаются: идем, мол.

Юноша снова забрался под ель, держа, однако, трехстволку у себя на коленях, наготове, со снятым предохранителем. «Может быть, старик и прав, — думалось ему, — однако все-таки как будто спокойнее держать в руках холодную сталь и знать, что ты не безоружен перед возможным нападением волков».

Как бы угадав мысли юноши, старик снова заговорил:

— Думаешь, помогла бы эта твоя стрелялка, если бы волки, на самом деле, напали на нас? Разве в этой темноте ты мог бы поймать на прицел хоть одного из них? Ты бы его и не обнаружил до тех пор, пока он не схватил бы тебя за горло! Наши глаза, непривычные к ночной темноте, не подметили бы ни малейшего движения, даже и если бы волки загрызли наших собак или начали рвать на части кабана, который лежит всего в трех шагах от нас. Поэтому сиди себе спокойно на своем месте и верь моему слову: карпатские волки на человека не нападают. Пускай себе газеты рассказывают нам самые страшные сказки из других стран. Но если про наших волков из карпатских лесов когда-нибудь напечатают подобное вранье, то мы, охотники, твердо решили отправить этих газетных уток туда, где их место, — в царство сказок.

Старик правильно угадал причину волчьего воя. Не прошло и четверти часа, как выюга внезапно прекратилась, тучи рассеялись над горным хребтом и первая звездочка замерцала в небе. Буря перешла в норд-ост, да и этот постепенно стал спадать. Просвет в облачном небе стал рас-

ширяться, тучи прорвались еще в одном, в другом, в третьем месте, звезды стали изливать слабый свет, отраженный свежевывпавшим снегом, и перед глазами охотников постепенно выплыли из темноты лес, ручей и камни. Зато холод стал еще более пронзительным. Они до того промерзли оба в своей мокрой одежде, что зубы у них стучали, как далекие пулеметные очереди; сидеть больше на месте, под елями, было невыносимо. Похлопывая себя руками, прыгая и топая на площадке не более нескольких квадратных метров, они пытались разгорячить стынущую кровь, вернуть своему телу хоть немного тепла.

Напрасно. Тяжелая мокрая одежда, насквозь промокшее белье не позволяли им согреться ни на каплю; напротив, при каждом прикосновении к телу вызывали холодный озноб.

Молодой, который в силу своих юных лет прыгал больше, быстрее и энергичнее, чем старик, внезапно остановился. Что это он нащупал в своей зашнурованной кожаной сумке в момент, когда до него донесся вой волков? Он только сейчас вспомнил об этом, только сейчас рука его схватилась за сумку и поискала то, что показалось ему спичкой. Так оно и есть! Когда он собирал со всех карманов свои заряды, чтобы уберечь их от сырости в непромокаемой кожаной сумке, он нашарил там внезапно спичку. Теперь его дрожащие пальцы снова нащупали ее. Да, да, это была настоящая спичка!

В первую минуту у него по спине побежали мурашки. Затем пальцы его тщательно нащупали головку спички и убедили его снова в том, что он не ошибся. Нет, это не было обманом, галлюцинацией, самообольщением! То, что он теперь держал в своих пальцах, было действительно спичкой, самой настоящей спичкой, с еще необгоревшей головкой, бог весть с каких пор затерявшейся в его сумке.

Юноша внезапно повернулся, направился к старому охотнику и остановился перед ним.

— Фриц, — сказал он, — Фриц, у тебя еще есть твоя спичечная коробка? — Он говорил торопливо, чуть сирым голосом, в котором чувствовалось нетерпение.

— На кой черт тебе моя коробка? — нехотя отозвался старик. — Пустая она, ни одной в ней спички, и для нас совершенно безразлично, есть ли еще у меня спичечная коробка или нет?

— Нет, не безразлично, — возразил юноша. — У меня есть спичка, хорошая, неиспользованная спичка.

— У тебя есть спичка? Настоящая, хорошая, неиспользованная спичка? — переспросил старик. — Дай, я ее пощупаю. Прежде, чем допустить надежду, я хочу сперва лично убедиться, может ли она для нас стать спасительной.

Юноша протянул ему спичку, и старик ощущал ее дрожащими руками, бережно, любовно. Затем глубоко, облегченно вздохнул, — словно простонал, — и сказал:

— Так оно и есть. Если бы ты нашел эту спичку вечером, мы бы избегнули многих испытаний и легко пережили бы эту проклятую ноябрьскую ночь. Но не будем неблагодарными. Твоя спичка для нас величайший подарок, лучше которого вряд ли мог бы дать мерзнущему человеку даже и сам Прометей. А теперь поищем коробок.

Старик нашарил в кармане брюк коробок из-под спичек и пощупал его кончиками пальцев. Затем тихонько, как бы все еще сомневаясь, как бы не осмеливаясь предаться радости и вслух выразить ее, сказал:

— Пожалуй, сойдет! Одна сторонка как будто сухая. Будем надеяться, что нам удастся добыть огонька.

Дрожа всем телом, негибкими от холода руками, охотники выбрали из собранного накануне хвороста самые сухие ветки. Вынув затем свои охотничьи ножи, они срезали долой с них мокрую кору, скололи влажные наружные щепки и раскололи сухое дерево на щепки.

— Нам нужно много лучины, — заговорил снова старый охотник, — спичка-то у нас всего одна, и от нее зависит наша жизнь. Зажжется от нее огонь — мы спасены, а не зажжется — то не знаю, хватит ли еще у нас наутро сил дотащиться до ближайшего убежища. Поэтому для нас остается одно: спичка должна воспламениться, щепки должны разгореться во что бы то ни стало. И гореть до тех пор, пока огонь охватит и сырой хворост и мы сможем подбрасывать в него ветки, которые сперва должны обсохнуть на огне, чтобы загореться в свою очередь. Нам надо очень много лучины, потому что кругом ни зги не видать и мы найдем только часть наколотых дров. Щепок должно быть достаточно, чтобы они горели до тех пор, пока не займутся и влажные, не наколотые ветви.

— Теперь можно и попробовать, — сказал старик, расчистил снег под старой елью, сложил ветки на свободном месте, вырвал из записной книжки сухие внутренние листочки, положил смятую бумагу на ветки, тщательно уложил поверх сухие щепки и укрепил все это положенной сверху веткой. Охотники загородили затем со всех сторон свой костер мокрыми плащами так, чтобы к нему не могло проникнуть ни одно дуновение ветра и загасить единственную спичку.

— Дай-ка мне сюда спичку, сынок! — старик взял ее бережно, как тончайший бокал, нащупал коробок в кармане и тщательно проверил наощупь сторонки. Полные тревоги и надежды, охотники затаили дыхание. Старик крепко чиркнул спичкой по сухой шершавой стороне коробка, и пламя весело заплесало!

Молча стояли оба охотника перед небольшим пламенем, которое переходило с бумаги на лучину, чуть-чуть колеблясь, а затем снова разгораясь, чтобы пожрать новую щепку. Так прошли мучительные минуты ожидания и надежды, в течение которых они тщательно оберегали медленно, но верно разгоравшийся огонь. Но когда огонь, вгрызаясь все больше и больше в подброшенные ветки, так хорошо разгорелся, что мог уже зажигать и самый мокрый хворост, жадно хватая его и обдавая своим горячим, алым дыханием, оба они внезапно рассмеялись и хохотали громко, безудержно, как маленькие. Десять минут спустя пламя поднялось на высоту человеческого роста, мокрая одежда их дымилась и благодатное тепло, разливаясь по всему телу, заставляло больно ныть заочевенные суставы. И это тепло, причинявшее им боль, было все же чудесным новым источником жизни, которую они чуть было не утратили.

— Сидишь вот так, у костра зимой в лесу, особенно, как теперь, в холодную зимнюю ночь, и все же испытываешь некоторое неудобство, — заговорил молодой охотник. — Придвинешься слишком близко и огню, обдаст тебя слишком сильно жаром и чуть ли не больно становится, а в спину холодно. Вот и ворочаешься все время, как собака, чотникан не может найти себе места.

— Этому теперь нетрудно помочь, — ответил старик. — Костер наш горит отлично, — хоть бы и выюга опять сорвалась, и то не загасит.

Он встал, вынул из огня пару головешек, отнес их на расстояние нескольких шагов и развел там второй костер. Охотники сидели теперь между двумя кострами всецело под властью приятного, расслабляющего тепла, греющего их и спереди и сзади.

— Только бы не заснуть, — сказал старик. — Одежда у нас все еще сырая, местами даже мокрая. Надо еще погреться. А если заснем, то наши костры догорят и мы опять будем в том же положении, что и в начале ночи. Поэтому необходимо бодрствовать и поддерживать огонь. Можно бы, конечно, и сменяться по очереди на вахте, но это не дело. Лучше не спать обоим и беседовать. — Он вынул из кармана часы и сказал: — Теперь два часа ночи. Перед нами пять часов времени до тех пор, пока в долине не забрезжит рассвет. За это время мы успеем разрешить спорный вопрос о том, кто убил кабана.

В глубине души старик надеялся, что молодой охотник беспрекословно согласится теперь признать право победителя исключительно за ним, старым охотником. Ведь уже было с неоспоримой ясностью установлено, что без первого выстрела не было бы кровавого следа и кабан, вместо того, чтобы бездыханно лежать теперь перед ними, забрался бы в свое логово где-нибудь в Стяже или Гоаце. Но юноше никак не хотелось отказаться от такой замечательной добычи. И, несмотря на то, что его право собственности на кабана казалось тоненьким, как ниточка, он все же упрямо цеплялся за охотничьи законы, согласно которым учитывается лишь смертельный выстрел, а не выстрел, ранивший дичь. Да и помимо того он прекрасно сознавал, что за всю охотничью жизнь ему вряд ли еще посчастливится встретить такой замечательный экземпляр кабана.

— Я ждал, чтобы ты, старший из нас, первым заговорил о кабана, — начал наконец юноша. — Я бы сам этого, наверное, не сделал, так как я намного моложе тебя и в силу этого имею, конечно, гораздо меньше опыта; скорее же по той причине, что не вижу для нас никакой возможности выяснить, кто первый пустил в него dokonавшую его пулю. Твой выстрел, ранивший его в левую заднюю ногу, не в счет или не должен идти в счет. Возможно, что без этого выстрела мы бы и не смогли никогда настигнуть кабана; весьма возможно, что не будь он ранен, он бы последовал своей старой тактике и ушел бы от собак, оставив между

собой и нами еще два хребта ; но я не намерен принимать все это во внимание, потому что иначе все мои претензии на то, что я уложил этого могучего зверя, с самого же начала пойдут ко всем чертям. Поэтому я строго придерживаюсь нашего охотничьего права : при охоте на мелкую дичь в счет идет последний выстрел, а на крупную дичь — первая причинившая смерть пуля. Выяснить, однако, кто пустил в кабана эту пулю, ни один из нас не может ; оба мы выстрелили одновременно и не слышали другого выстрела. Таким образом, по-моему, нам остается лишь одно. Один из нас должен добровольно отказаться от кабана и от своих на него претензий. Я лично этого сделать никак не могу ; ты уж меня прости, Фриц, но я не в состоянии.

По лицу старика скользнула насмешливая улыбка.

— Так, говоришь, ты отказаться не можешь, — ответил он молодому охотнику. — Неужели же ты ожидаешь, чтобы отказался я ? Я, который пустил в кабана первую пулю, помешавшую ему уйти от нас и давшую собакам — моим собакам ! — возможность затравить его и удержать на месте ? Охотничье правило, согласно которому в счет идет лишь первая причинившая смерть пуля, может быть действенным в большинстве случаев у людей, редко употребляющих ищеек. В нашем же случае решение найти не трудно, потому что налицо были собаки и эти собаки должны были поднять подранка. Это дало мне возможность пустить в него вторую, более меткую пулю, — возможность, которая была бы лишь ограниченной или просто отсутствовала бы, если бы кабан не был ранен. Даже и в том случае, если бы ты на миг или несколько мгновений раньше очутился перед кабаном и прикончил его до моего прихода, даже и тогда было бы несправедливо отдать его тебе, ибо — и прошу тебя запомнить это на будущее — вообще не дело стрелять в выгнанную дичь, в теле которой уже сидит чужая пуля, особенно, когда другой охотник преследует ее на расстоянии нескольких шагов. Только в том случае, когда дичь снова уходит, — что в данном случае не произошло ! — в нее может стрелять каждый. Но и в этом случае надо еще хорошо обдумать, кому принадлежит честь застрелить кабана. Согласно моему скромному мнению — и у меня как-никак за плечами сорокалетний охотничий опыт, — не следовало бы всегда учитывать исключительно первую смер-

тоносную пулю, а скорее первую пулю, которая дала возможность затравить зверя и выгнать его на выстрел.

— А не лучше бы кинуть жребий? — нерешительно прервал его молодой охотник.

Старик энергично затряс головой:

— И ты думаешь, что мы сочтем справедливым решение, определенное жеребьевкой? Нет, Курт! Жребий, кто бы его ни вытянул, повлечет за собой только горькое сознание того, что мы сознательно обманули друг друга, оказавшись слишком слабыми, чтобы самим вынести решение. Я вижу лишь один выход из положения. Клыки принадлежат мне, так как кабана, несомненно, уложил я. Тебе я предлагаю за твой выстрел его шкуру. Таким образом, и у тебя и у меня будут трофеи и воспоминания об этой незабываемой охоте. А после моей смерти тебе достанутся и клыки кабана из долины Лотру.

Юноша колебался лишь с минуту. Затем он встал и долго, крепко жал руку старику.

— Вот уж, действительно, соломонов суд. Я согласен и благодарю тебя за великодушие. Теперь я вижу, что ты имеешь неоспоримое право на кабана.

Старик устало кивнул.

— У меня безумно болит голова, несмотря на весь этот огонь, меня трясет лихорадка и дышать мне все труднее и труднее. Думаю, что у меня температура. Пойдем, Курт! Сдерем шкуру и вырвем у него из пасти клыки. А туша пусть остается здесь на съедение волкам и медведям. У нас уже не хватит сил унести с собой все это. Дорога до слюдяной разработки и дальше до соседней деревни длинна и утомительна. Надеюсь, что смогу проделать ее сам, без посторонней помощи. Как только начнет светать, пустимся в обратный путь.

Четыре дня спустя молодого охотника позвали к его больному товарищу. Старик заметно изменился. Он лежал в постели, осунувшийся, с лихорадочно блестящими глазами; на щеках его горел нездоровый румянец, дыхание вырывалось из груди прерывисто, со свистом. Он подманил к себе юношу усталым жестом.

— Как хорошо, что ты пришел, Курт. Доктор говорит, что меня, по всей вероятности, больше чем на три дня не хватит. Клыки кабана лежат там, на охотничьем шкафу.

Возьми их и владей ими, согласно моему предложению в долине Ханеша. Это знаменитейшие из всех кабаньих клыков, которые я когда-либо видел. А теперь иди! Меня безумно утомляет разговор.

Юноша судорожно заглотнул слюну, хотел было что-то возразить, но старик сделал ему знак идти.

— Иди, — прошептал он, протянул ему руку и добавил:

— Прощай, Ханеш, Балиндру и Стрикат! Прощай, Курт!

Юноша отвернулся и вышел, с трудом сдерживая рыдания.

Чудо свершилось: организм старика, закаленный непогодой, дождями, бурями и зноем, восторжествовал над воспалением легких. Когда, две недели спустя, молодой охотник снова пришел навестить старика, тот начал уже выздоравливать. Весело приветствовал он своего молодого друга.

— Вот у меня так ничего и не получилось с «местами вечной охоты», — рассмеялся он и указал гостю стул. — Садись, товарищ моей последней и самой оживленной охоты в долине Ханеша.

— Твоей последней охоты? — прервал его юноша. — Нет, я надеюсь еще не раз поохотиться вместе с тобой. — Он полез в карман и вынул оттуда тщательно завернутые в тонкую бумагу клыки кабана. — Возвращаю тебе клыки нашего огромного кабана из долины Лотру. Пусть остаются у тебя до твоей — надеюсь, еще не близкой — смерти.

Старик покачал головой.

— Подарки не возвращают. Владей ими на здоровье. Доктор говорит, что мне уже никогда больше не придется выходить на охоту с собаками, что я должен беречься, беречься и беречься! Силы мои подорваны, я постарел. Медик великодушно разрешил мне в теплые осенние дни охотиться на зайцев и перепелок близ города. Но я в жизни своей не признавал полумер. Раз мне уж больше не дозволено охотиться так, как я охотился до сих пор, — то уж лучше совсем отказаться от этого дела! Приищу себе где-нибудь за городом домик, откуда открывался бы вид на наши горы. Буду сидеть в нем у окна и вспоминать о былых охотах. Но гоняться за зайцами и перепелками на жни-

ые, — нет благодарю покорно! Это я предоставляю нашим более зажиточным и более отважным охотникам, которые видят наши Карпаты только с равнины. Если ты сегодня же вернешься домой, Курт, не забудь прихватить с собою и моих гончих. Дарю их тебе, чтобы ты мог всласть охотиться на Ханеше на медведя и кабана. Этот мой подарок я, однако, сопровождаю одним условием: чтобы ты приезжал ко мне в гости в каждый понедельник вечером и рассказывал мне про дичь и леса наших чудесных диких Карпат.



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
«Шабаш ведьм»	5
Горные козлы с берегов Рыу-Вадулуй	17
Медведь против кабана	25
Жерех	34
Чертов всадник	52
Безухий олень	63
Убийца	81
Последний кабан	93



Цена 33 коп.